



**М. С. Самарина, И. Ю. Шауб**  
**НАСЛЕДИЕ ДАНТЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ\***

Слава Данте будет вечной,  
потому что его никто никогда не читает.

*Вольтер*

Зорю бьют. Из рук моих  
Ветхий Данте выпадает.

*Пушкин*

Я всю жизнь читаю Данта.

*Ахматова*

В этих известных каждому дантологу цитатах — вся постановка вопроса «за и против»: читать или не читать Данте (а также Гомера, Шекспира, Сервантеса, Гете, Пушкина, Ахматову и т. д.). Европейец Вольтер, сам читаемый намного менее так нелюбимого им Данте, из своего XVIII века (а именно этот век и привел Европу к ее современному состоянию) очень четко выразил отношение современного нам общества к европейской культуре. В старой Европе, и даже в самой Италии, к Данте, разделившему судьбу письменного наследия былых веков, уже давно почти не прикасаются. В России, на европейском фоне нации совсем молодой, ситуация пока еще далека от апокалиптической. Русская интеллигенция читала и продолжит читать и перечитывать Данте — как Пушкин

---

\* Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 11-04-00041а «Данте в российском литературоведении и литературе».

и Ахматова, сознавая при этом всю сакральность происходящего, поскольку Данте — это «итальянское все», а Италия и итальянская культура — это, по мысли Гоголя, именно в Риме работавшего над «Мертвыми душами», задуманными по дантовскому плану, являются вечной прародиной русской души. Русское «чувство Италии» говорит нам о том, что «Италия для нас не географическое, не национально-государственное понятие. Италия — вечный элемент духа, вечное царство человеческого творчества... и Италия должна стать вечным элементом русской души». Так писал в 1915 году Бердяев, уже тогда видевший в Европе «упадок великой латинской культуры»\*.

Поэтому мы не будем вдаваться в споры по поводу того, зачем и вообще надо ли читать Данте русскому читателю. Мы не будем читать Данте, мы будем его в который раз перечитывать и вспоминать выученные когда-то наизусть строки. Мы будем пытаться проникнуть в сложнейшую семиотику дантовского текста, проникнуть, несмотря на всю отдаленность и иррациональность его эпохи и почти недоступную сложность философии и неизмеримо огромный диапазон созданной им вселенной, мы будем читать его, несмотря на трепет, охватывающий нас, входящих вместе с Данте и Вергилием в мир мертвых.

«Данте, теолог-поэт, во всех искушенных доктринах...» — так начинается знаменитая эпитафия на смерть поэта, сочиненная его другом Джованни дель Вирджилио. Таким Данте видели его современники — мыслителем, пророком, теологом-поэтом, с постановкой слова «теолог» на первом месте. Эпитафия так и не появилась на могиле поэта. Роскошная гробница во флорентийской церкви Санта-Кроче осталась пуста, прах поэта-мыслителя покоится в скромном францисканском монастыре в Равенне, и уже несколько веков флорентийцы тщетно просят у Равенны вернуть на родину прах преданного и изгнанного ими поэта. Но в родной город непримиримый поэт-изгнанник и оппозиционер так и не вернулся, ни живым, ни мертвым.

Через шесть столетий после Данте Ахматова напишет: «Он и после смерти не вернулся в старую Флоренцию свою...»

Неблагодарная Флоренция, любимая и проклинаемая Данте, очень скоро поняла, что лишилась не просто одного из великих

---

\* Бердяев Н. Чувство Италии / Биржевые ведомости. 2 июля 1915. № 14940. С. 367–369.

поэтов, которыми так богата итальянская земля. Флоренция лишилась поистине всеобъемлющего гения, мыслителя, искушенного как во всех современных ему доктринах, так и в учениях прошлого. Диапазон дантовской мысли охватывает весь круг знаний, доступных человечеству к началу XIV столетия, вбирая в себя и античную, и средневековую культуру. Данте — вероятно, самый энциклопедический ум своей эпохи — владел всем знанием, накопленным европейской культурой к XIV веку. Знать все и иметь четкую, незыблемую картину мира — это мог позволить себе только средневековый человек, только в эпоху Средневековья единичный разум мог вместить весь комплекс знаний, доступных человечеству. Для современного ученого это невозможно. Количество знаний, накопленных человечеством к нашему времени, сыграло с нами злую шутку — индивидуальный разум не сумел вместить весь их объем, и в результате в сознании современного человека мир распался на тщательно изученные, но разрозненные фрагменты. Знания наши идут вглубь, но не вширь — современный ученый знает все больше во все меньшей области знаний. Мир стал пугающе многообразным, и множественность культур и точек зрения уничтожили саму возможность существования единой идеологической системы, в течение многих веков объединявшей Европу, поскольку религиозный взгляд на мир уже не является единственно возможным. Вселенная стала хаосом, где воцарилась теория относительности; релятивизм стал основой не только физики, но и морали. Наша культура утратила основную архитектурную характеристику, свойственную именно дантовскому наследию, — целостность картины мира, распавшегося на фрагменты. Современное искусство стало относиться к себе и к самому процессу творчества с все большей долей иронии, и современная культура стала игровой, тотально ироничной и «смеховой культурой» в прямом смысле этого слова.

Дантовская вселенная, напротив это единое целое, где все взаимосвязано, оправдано и подчинено единой идее и единой цели, макрокосм со всей системой взаимосвязей алгебры и гармонии, вселенная, подобная готическому собору с его философией и символикой. Дантовскому наследию, кроме того, свойственна и одна из основных характеристик средневековой культуры — сакральное отношение к творчеству и к Слову. *Ars est scientia* («Искусство есть наука») — средневековое определение искусства как свя-

ценнодействия, требующего всеобъемлющих знаний, как философских и естественнонаучных, так и эзотерических. Структура «Божественной комедии» вся подчиняется законам геометрии и арифметики, она вся построена на мистических числах, на астрономических и астрологических наблюдениях; союз алгебры и гармонии не мог бы быть более совершенным. С этим связана и эзотеричность, и даже некая «зашифрованность» дантовских текстов, лидирующих по количеству толкований. В серьезном издании комментариев к дантовскому тексту в несколько раз превышает размер самого текста. И, несмотря на подробнейшую изученность каждой дантовской терцины, новые исследования появляются постоянно, открывая все новые скрытые аспекты и уровни дантовского наследия и вновь убеждая нас в том, что мы находимся всего лишь у входа в дантовскую вселенную. Наука изучения и толкования Данте — дантология — родилась сразу же после смерти поэта и к нашему времени насчитывает несколько десятков тысяч работ, охватывающих практически все — от лингвистики и литературоведения до астрономии, математики и экономики. В Италии о Данте писали все без исключения во все эпохи — и литераторы, и математики, и просто образованные люди, и политики. Даже у Галилея, физика, астронома и механика, есть эссе о топографии Дантова Ада.

Ф. Энгельс (его душа, существование которой классик марксизма отрицал, уже находится в соответствующем круге дантовского потустороннего мира) сослужил Данте сомнительную службу, назвав его первым поэтом Возрождения. Сами понятия «Средневековье» и «Возрождение» — чрезвычайно зыбкая почва, и мы не будем здесь — в бесчисленный раз — вдаваться в длительные дискуссии по поводу противостояния этих двух эпох, не будем пытаться очередной раз реабилитировать «мрачное Средневековье» и апеллировать к гармоничному радостному Возрождению. Для Италии резкое разграничение на античность, Средневековье и Возрождение мало оправдано. Вспомним известную мысль А. Н. Веселовского, который в несколько утрированной форме, но аргументированно высказывал сомнения в необходимости применения терминов «Возрождение» и «Средневековье» по отношению к Италии: «Да и вообще приложимо ли это название к Италии? Было ли у нее Возрождение, когда не было средних веков, по крайней мере, в том смысле, в каком они понимаются по ту сторону Альп, когда вся культура старой Италии представляет

ся нам, за немногим исключением, органическим продолжением римской?»\*. Италия — единственная европейская страна, в которой никакие варварские нашествия и социальные потрясения не смогли нарушить традицию преемственности античной культуры, та страна, где на античном фундаменте языческих храмов строились христианские соборы.

Данте — поэт «мрачного» Средневековья. Ярлык, прикрепленный деятелями Просвещения на десять столетий истории Европы, оказался во многом верен. У Ж. Ле Гоффа есть чрезвычайно точное определение Средневековья — это «галлюцинирующее общество» с его верой во все потустороннее, сверхъестественное и дьявольское\*\*, с его глубочайшим пессимизмом, зловещими пророчествами, апокалиптическими ожиданиями, психологической атмосферой постоянного страха, на которой расцветали коллективные мистические помешательства, душевные болезни и религиозные сумасбродства. «Средневековье было по преимуществу временем великих страхов...»\*\*\*. Плод тысячелетней галлюцинации — дантовский потусторонний мир. Человеческая история, по Данте, имеет четкую линейную направленность — это вектор от сотворения мира и человека до последнего дня вселенной — *Dies irae* (Дня гнева), Страшного суда, и человеческая история имеет безусловный моральный смысл. Вся вселенная, созданная Данте, подчиняется строжайшим нравственным законам оценки каждого деяния, воздаяния за добро и возмездия за грех. Гениальная схема пороков и добродетелей и распределение душ в загробном мире по тяжести грехов и соответствующих им наказаний напоминает классификацию Линнея.

«Божественная комедия» — произведение в основе целиком религиозное, написанное при этом и с позиций знатока античной философии, и с позиций средневекового «теолога-поэта». По мнению К. Бурдаха, понятие религиозную сущность «Божественной комедии» Данте можно, только не забывая о том, что «он хочет силой своих слов очистить, возвысить, омолодить, обновить христианскую религию своего времени, его этику, его церковь, его государство, его искусство, его науку в возрождении подлинной

---

\* *Веселовский А. Н.* Взгляд на эпоху Возрождения в Италии // Избранные статьи. Л., 1939. С. 216.

\*\* *Ж. Ле Гофф.* Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 154–177.

\*\*\* Там же. С. 226.

человечности посредством примирения христианства с национальной римской древностью»\*. Эта мысль согласуется с магистральной идеей «третьего завета» Д. С. Мережковского, видевшего в дантовской поэме воплощение своей концепции трехступенчатого развития человеческой истории.

Данте — поэт потустороннего мира, поэт мира бесплотных духов, создавший и упорядочивший это средневековое зазеркалье, суммировавший древнейшие представления о мире мертвых языческой античности и христианского Средневековья, создавший свою, трехчастную структуру загробного мира, добавляя к аду и раю чистилище. И хотя мир потусторонний оказывается у Данте реальнее и ощутимее земного, но все равно с первой до последней терцины мы находимся в мире мертвых, где только двое живых — сам Данте и читатель. Потусторонний мир — один из важнейших образов в системе средневековых реалий. Средневековье, как никакая другая эпоха, культивирует и в литературе, и в искусстве тему физической кончины и сопутствующих страданий и загробных мучений за грехи. Никакая другая эпоха не размышляла так много о смерти и загробной жизни.

Верил ли в загробную жизнь сам Данте? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным — вспомним авероистскую и эпикурейскую атмосферу, в которой вращался молодой Данте, а также некую декадентскую моду на “атеизм” в интеллектуальной элите итальянского общества — характерная фигура Фридриха II Гогенштауфена. Старший друг Данте поэт и философ Гвидо Кавальканти, оказавший на молодого поэта решающее влияние, отрицал бессмертие души и загробную жизнь. После прочтения невольно задаешь себе вопрос: не является созданная им вселенная колоссальной литературной мистификацией или — действительно — «комедией» в обыденном значении этого слова...

Дантовская вселенная величественно целостна и является, перефразируя пушкинские строки, плодом высокого гения. В создании своей вселенной Данте опирался и на античную науку, и на средневековую мысль, дополняя все это своей творческой фантазией. В центре дантовской вселенной находится круглая неподвижная земля; средневековый человек ощущал себя абсолютным центром мира, в котором четко распределены места для звезд и планет, для бога и человека. Неподвижность и незыблемость

---

\* Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. М., 2004. С. 59.

земли соответствовала средневековым представлениям не только космологического, но и исторического и морально-нравственного характера. Ад представляет собой огромную пропасть в форме воронки, уходящей в центр земли и состоящей из девяти концентрических кругов. Конус воронки упирается в центр земли; там находится самый страшный, девятый круг, где Люцифер, властитель Ада, восставший против Бога некогда и прекраснейший из ангелов, заключен в ледяном озере; для сознания итальянца, и средневекового, и современного, самый страшный Ад — не огненный, а ледяной. Души грешников четко распределяются по кругам, в каждом из которых — свои наказания, в описании которых Данте необыкновенно изобретателен. При этом Данте и не политкорректен, и не объективен: он называет все отвратительные пороки своими именами, он помещает своих личных врагов и политических противников в Ад и подвергает их самым изощренным мучениям. Но христианское сострадание и здесь не покидает поэта — услышав горестную повесть несчастных влюбленных Франчески да Римини и Паоло Малатесты, поэт падает замертво от горя. Но Ад ужасен не своими мучениями; Ад — это вечность и отсутствие надежды, это, по выражению Е. Н. Трубецкого, «толка богооставленности».

Данте определенным образом усовершенствовал античную и средневековую систему загробного воздаяния, добавив к Аду и Раю чистилище (задолго до его официального признания как церковного догмата) — особое промежуточное пространство загробного мира между Адом и Раем, где души умерших путем физических страданий очищаются от грехов и таким образом готовятся ко вступлению в рай. Данте, создавая чистилище, основывался на древнейших представлениях народной религиозности, на фольклоре и на некоторых образах раннехристианской литературы (апостол Павел, Ориген, Бл. Августин, Григорий Великий). В XIII веке и сам великий доминиканец Фома Аквинский разрабатывает понятие чистилища с теологической точки зрения. Догмат о чистилище был окончательно принят только в 1439 году Флорентийским собором и подтвержден в 1562 году на Тридентском соборе. Согласно исследованиям Ле Гоффа, появление чистилища знаменовало собой значительный переворот в картине мира средневекового человека: переход от бинарной структуры загробного мира (ад — рай) к троичной (Ад — чистилище — Рай) связан с усложнением ментальных структур в обществе, с появлением более сложного

и рационального мышления\*. Так в сознании средневекового человека возникла новая теологическая триада и установилась более развитая иерархическая система потустороннего мира, в начале XIV века подробнейшим образом описанного Данте в колоссальной архитектонике «Божественной комедии». Появление чистилища решало и многие моральные проблемы, давая душе больше надежд на спасение, допуская некое промежуточное состояние, некий моральный компромисс, «третий путь», которого не было ни в православной\*\*, а затем и в протестантской церквях. Как ни суров моральный приговор Данте-католика, православный нравственный императив неизмеримо жестче: в восточно-христианской системе нравственности сама возможность любого третьего пути и вообще любого морального компромисса отсутствует.

У Данте чистилище находится в Южном полушарии в Атлантическом океане (Данте за 180 лет до Колумба описывает звездное небо экватора) и представляет собой высочайшую из земных гор, состоящую из концентрических кругов, соответствующих кругам Ада. На плоской вершине горы Чистилища расположен земной рай, где среди ангелов Данте видит летящую на небесной колеснице Беатриче, одетую в то же красное платье, в котором он встретил ее первый раз в земной жизни; теперь она, сменив Вергилия, поведет поэта ввысь.

Рай — наименее читаемая по причине своей теологической сложности часть «Комедии» — изображается Данте с поистине космическим размахом. Неподвижная круглая земля окружена девятью концентрическими вращающимися небесами, каждое из небес представляет собой прозрачную сферу с укрепленными на ней планетами, звездами и созвездиями; при этом каждому небу соответствует свой мелодичный звук. Вращаясь вокруг земли, небеса издают некую мелодию, «музыку сфер». Над девятью небесами находится недвижный Эмпирей, обитель Бога, ангелов и блаженных душ. В последних песнях «Рая» появляется еще один, третий проводник Данте по загробному миру — цистерцианец Бернад Клервоский, идеолог ордена тамплиеров, странная фигура, вызывающая недоумение исследователей. Именно Бернад посвящает Данте в тайны вселенной, и здесь завершается

---

\* *Le Goff J. La naissance du Purgatoire. Paris., 1981.*

\*\* Миф о чистилище, хотя и отвергается православной церковью, все же присутствует в древнерусской апокрифической литературе.

это магическое мистическое путешествие. Финал «Божественной комедии» не имеет аналогов в мировой литературе — после долгого пути по аду и чистилищу Данте, в высотах Эмпирея над девятым хрустальным небом — Перводвигателем, на краю известного его эпохе космоса, видит мистическое триединое божество в виде трех кругов, в одном из которых он различает человеческие очертания. Тщетно силясь постигнуть тайну слияния человеческого и божественного начала, поэт уподобляет себя геометру, пытающемуся решить задачу квадратуры круга. Усилий его собственного разума, его «собственных крылий» оказывается недостаточно, и внезапно грянувший «блеск с высот» открывает ему эту тайну. Поэт, достигший высшего духовного напряжения, изнемогает от космического света и перестает что-либо видеть. Но после наступившего катарсиса его сердце и разум (его «страсть и воля») сливаются с вечным ритмом, в котором божественная любовь движет вселенную. Как геометр, напрягший все старанья,

Чтобы измерить круг, схватить умом  
Искомое не может основанья,  
Таков был я при новом диве том:  
Хотел постичь, как сочетаны были  
Лицо и круг в сиянии своем;  
Но собственных мне было мало крылий;  
И тут в мой разум грянул блеск с высот,  
Неся свершенье всех Его усилий.  
Здесь изнемог высокий духа взлет;  
Но страсть и волю мне уже стремил,  
Как если колесу дан ровный ход,  
Любовь, что движет солнце и светила.

Таков сюжет этой странной поэмы, рядом с которой уже давно и справедливо соседствуют термины архитектуры. Архитектура как царица искусств в наиболее полной мере отражает менталитет и мировосприятие той или иной эпохи истории человеческой культуры. Подобный подход (то есть характеристика культуры в терминах архитектуры), несмотря на всю рискованность подобных параллелей между разными видами искусств, является оправданным для многих эпох истории культуры прошлых столетий (барокко в литературе и музыке), кроме эпохи современности, утратившей основную архитектурную характеристику — целостность, и в том числе целостность видения картины мира.

Именно с целостностью, масштабностью и несоизмеримостью с другими литературными величинами и связано одно из наиболее известных архитектурных сравнений, а именно сравнение «Божественной комедии» с пирамидой в пустыне, принадлежащее выдающемуся немецкому дантологу Карлу Фосслеру. Эта метафора как нельзя более оправдана. Семантическое поле слова «пирамида» включает в себя все дантовские характеристики — сакральность, недоступность, таинственность, магия чисел. Образ одиноко высящегося колоссального сооружения чрезвычайно удачен именно с точки зрения сопоставления литературных величин — до «Божественной комедии» итальянская средневековая литература действительно не обладала почти ничем. От Боэция до Данте в Италии простирается тысячелетняя литературная пустыня, где нет ни поэзии, ни эпоса — и это на фоне высокоразвитой к тому времени европейской литературы, уже обладавшей ко времени появления «Божественной комедии» и высочайшими достижениями провансальской поэзии трубадуров и немецких миннезингеров, и интереснейшими французскими рыцарскими романами, и богатейшим национальным эпосом практически в каждой стране средневековой Европы — «Песнью о Сиде» в Испании, «Песнью о Роланде» во Франции, «Песнью о Нибелунгах» в Германии, ирландскими и скандинавскими сагами, «Словом о полку Игореве» в России. «Божественная комедия» непостижимым образом возникла среди итальянской литературной пустыни, на совершенно неподготовленной почве, не соответствуя абсолютно никаким жанровым схемам и не имея предшественников и аналогов в мировой литературе. Данте завоевал для Италии первое место в литературном развитии Европы сразу же и надолго, сохранив его вплоть до XVII века, когда духовное лидерство перешло к Франции, впитавшей лучшие достижения итальянской культуры. Таково влияние субъективного фактора в истории — сила дантовского гения, создавшего колоссальную конструкцию практически на пустом месте, надолго обеспечила Италии гегемонию над духовной жизнью Европы.

Именно во Франции эпохи Просвещения появилась другая, еще более известная «архитектурная» параллель: сравнение «Божественной комедии» с готическим собором. Действительно, при чтении страниц «Комедии» не покидает чувство ужаса от ощущения незримого присутствия Бога — чувства, которое испытывает входящий под готические своды. Еще Ж. Дюби,

определивший этот исторический период в образах архитектуры\*, характеризовал умонастроение эпохи как «высочайшую готическую духовность»\*\*. Готика не только и не столько архитектурный стиль; готика — это носитель средневековой идеи мироустройства, новый этап художественного овладения пространством, новый способ организации пространства; готический собор вмещает в себя всю полноту знаний средневековой цивилизации о космосе, подобно огромным всеобъемлющим средневековым энциклопедиям\*\*\*. О «готической» духовности и даже о «готических» философских системах пишет и А. Ф. Лосев: «...достаточно вдумываясь в сущность готического стиля, мы вдруг начинаем замечать, что и в изложенных у нас выше философско-эстетических теориях XIII века, несомненно, есть нечто готическое. Бонавентура с его учением о восхождении — это, несомненно, самая настоящая готическая эстетика. Но, конечно, здесь нужно говорить не только о Бонавентуре, но и вообще о всех изложенных выше философах XIII века. Самое учение о форме, которая только в абстракции отлична от материи и только в абстракции отлична от божественного разума, всегда содержало в себе, по крайней мере в XIII века, эту вертикальную устремленность ввысь с обестелеснением материи и с бесконечным становлением ввысь»\*\*\*\*. Здесь А. Ф. Лосев очень точно и глубоко проникает в составляющую дантовского пути, основанного на мистических учениях Средневековья, и прежде всего Бонавентуры, — порыв прочь от греховной земли и стремление к космическим высотам. Входящий в темные своды готического собора с западного портала, наполненного изображениями ада и Страшного суда, двигался вперед на восток, к восходу солнца, к алтарю, над которым из огромных готических витражей пронзительно стремился ослепительный свет.

Вспомним, что еще Н. В. Гоголь, глубоко знавший итальянскую историю и культуру и читавший курс лекций по истории Европы на петербургском историко-филологическом факультете в эссе «О средних веках» уподоблял всю средневековую цивили-

---

\* Это выражение послужило названием книги Ж. Дюби 1981 г. «Время соборов».

\*\* Дюби Ж. Указ. соч. С. 223.

\*\*\* Panofsky E. Gothic Architecture and Scholasticism. New York, 1957.

\*\*\*\* Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 187.

лизацию готическому собору: «...средние века, величественные как колоссальный готический храм, темные, мрачные, как его пересекаемые один другим своды, пестрые, как разноцветные его окна и куча изузоривающих его украшений, возвышенные, исполненные порывов, как его летящие к небу столпы и стены, оканчивающиеся мелькающим в облаках шпирем»\*. Здесь вспоминаются и слова М. Волошина, понимавшего готическое искусство широко — как готику и в архитектуре, и в литературе: «Но истинная итальянская готика воплотилась не в камне, а в слове. Самый великолепный готический собор в Италии — это „Божественная комедия“»\*\*.

Что касается судьбы творений флорентийского изгнанника в Европе и России, то здесь ситуация «за и против» сопровождала дантовское наследие очень долго.

Три короны итальянской литературы — Данте, Петрарка и Боккаччо — не всегда встраивались в этой последовательности, место безусловного лидера в этой тройке Данте занял не сразу, и критиковать его начали уже при жизни. с этим связан и другой аспект сравнения дантовского наследия с готическим собором — оценочный, так как на протяжении ряда столетий (то есть начиная с эпохи Возрождения и практически до эпохи романтизма) слово «готический», неизменно сопровождавшее и средневековую архитектуру, и дантовское наследие, имело ясно выраженный негативный оттенок, являясь синонимом всего варварского, мрачного и средневекового в худшем смысле этого слова, так как именно в готическом искусстве полнее всего обнаруживается болезненный средневековый менталитет и менее всего отражается влияние светлой и гармонической античности. Известны резко отрицательные высказывания Рафаэля по поводу готического искусства (именно ему приписывается изобретение термина «готический» в смысле «варварский», чуть позднее введенного в широкий обиход Вазари), а также других деятелей и теоретиков Возрождения. Вспомним, что практически одновременно — а именно в эпоху Возрождения — началась резкая критика Данте за грубость его стиля, необработанность формы и, самое главное, отход от античных традиций. В духе

---

\* Гоголь Н. В. О средних веках // Собр. соч.: в 7 т. М., 1978. С. 39.

\*\* «Исторические границы готического искусства». (Волошин М. Стихотворения, статьи, воспоминания современников. М., 1991. С. 450).

времени было то, что уже в начале XV века был сделан первый перевод «Божественной комедии» на латынь ученым-латинистом Джованни да Серравалле. В следующем, XVI веке один из столпов лингвистики кардинал Пьетро Бембо, автор основополагающего трактата о языке, высказывался достаточно резко о Данте, отвергая его за варварство и грубость и противопоставляя ему совершенство гармонии петраркизма. Авторитет Бембо в вопросах языка был настолько велик, что таким образом было положено начало некоей традиции критики Данте как писателя грубого, примитивного и варварского.

Критика Данте как «готического» писателя продолжалась и в XVII веке как со стороны писателей классицизма, так и барокко параллельно с резким неприятием готического Средневековья вообще и готического стиля в архитектуре в частности. Известно возмущение Мольера по поводу антиэстетики собора Парижской Богородицы, а для Лабрюйера и Расина слово «готический» вообще стало ругательным. Одновременно с проектами разрушения готических храмов продолжают более или менее удачные попытки переводов «Божественной комедии» Данте с «вульгарного» народного итальянского языка на классическую латынь.

Напрямую и непосредственно соотносить Данте и готику стали начиная с эпохи Просвещения — литературный критик и переводчик де Кларфон впервые провел параллель между «Божественной комедией» и готическим собором, причем как в качестве похвалы за высоту и смелость, так и как упрек в отсутствии вкуса. Но настоящим критиком Данте стал Вольтер. Для него Данте (как и не менее ненавидимый им Шекспир) также оставался типичным представителем «готической» культуры, при этом слово «готический» у него являлось синонимом всего варварского, непонятного и мрачного (при этом Вольтер основывал свои суждения в основном на первой части «Божественной комедии»). Именно ему принадлежит убийственная фраза из статьи о Данте в «Философском словаре», кое-в-чем справедливая: «Слава Данте будет вечной, потому что его никто никогда не читает. Есть с дюжину мест, заучиваемых наизусть; этого достаточно, чтоб не давать себе труда заглянуть в остальное»\*.

---

\* «Sa réputation s'affermira toujours, parce qu'on ne le lit guère. Il y a de lui une vingtaine de traits qu'on sait par cœur : cela suffit pour s'épargner la peine d'examiner le reste»: Voltaire, Dictionnaire philosophique, v. Dante.

Примерно в это же время — в середине блестящего XVIII века, века просвещения, роскошного барокко, фаворитов, дворцовых переворотов и авантюристов, — тень Данте появилась в России. Тем не менее на просвещенную российскую аристократию дантовская поэма не произвела должного впечатления; эта рационалистическая эпоха вообще не могла оценить и понять безудержной мистики «готического» поэта, над которым к тому же насмеялся Вольтер. Появление в России примерно те же годы великого авантюриста и мистификатора графа Калиостро наделало неизмеримо больше шума.

Данте вновь начали воспринимать более или менее благоклонно в эпоху предромантизма, но только с определенной точки зрения — как автора inferнального и мистического. Это были в основном создатели так называемых готических романов (Х. Уолпол, А. Радклиф, М. Г. Льюис, Мэри Шелли, Ч. Мэтьюрин), в особенности их привлекали ужасы Ада — эпизод Уголино (Т. Уортон). Данте продолжали называть готическим автором, но уже совсем без пренебрежительного оттенка, а, напротив, как гения ужаса и мрака.

Для романтизма во всех странах Европы характерен настоящий культ Данте, которого наконец поставили на пьедестал наравне с Гомером и Шекспиром как одного из величайших поэтов мира, при этом восторженное восприятие Данте шло параллельно с не менее восторженным отношением к Средневековью и в особенности к готике. В России поэты пушкинской поры почти все читали Данте. Эта традиция шла от байроновской поэзии через италомана Батюшкова. В поэзии и прозе Пушкина дантовские образы, реминисценции и скрытые цитаты встречаются на протяжении практически всего творчества.

В эпоху романтизма увлечение презираемым ранее готическим Средневековьем стало всеобщим — ему отдали дань как писатели — Гюго с характернейшим названием романа «Собор Парижской Богоматери», Шатобриан, Виньи, Мюссе, Ламартин, Сент-Бев, Леопарди, так и художники — Энгр, Делакруа (а позже и Роден). Ламартин писал о настоящем «культе Данте». При этом восторги перед дантовскими образами соседствовали с увлечением готической архитектурой (Шатобриан).

Для романтического восприятия Данте характерна и чрезвычайно плодотворная мысль, неоднократно в разных работах высказанная теоретиком романтизма Ф. В. Шеллингом,

что «Божественную комедию» невозможно расчленить на более или менее удачные и доступные пониманию поэтические эпизоды (как поступал впоследствии Б. Кроче), а следует воспринимать в комплексе, с философской точки зрения — как единый в своем роде замкнутый мир, систему и — добавим от себя — собор.

Каждая историческая эпоха и нация находила в многогранном и энциклопедичном дантовском наследии различные притягательные для нее аспекты. Ориген утверждал, что разным людям Иисус Христос являет себя по-разному и каждому он является в том образе, которого достоин каждый. Эту мысль можно отнести и к Данте — не только у каждого мыслителя, но и у каждой эпохи и каждой нации свой Данте.

Чем же завораживает Данте именно русское сознание?

Это прежде всего эпичность и энциклопедичность. Данте — «теолог-поэт, во всех искушенный доктринах», действительно обладал всем кругом знаний, накопленных человечеством к XIII столетию. За «Божественной комедией» прочно утвердилось сравнение с готическим собором, в котором сосредоточены все тайны мира; его поистине вселенский диапазон поражает: Данте смотрит на землю с самых отдаленных космических далей и из глубины адской бездны устремляется к небу; но этой вертикали свойственна и широта охвата; дантовский эпос — поистине энциклопедия тысячелетней европейской истории. Не забудем, что эпос в системе античной эстетики — на первом месте; эпос — это вершина литературного творчества.

Это и сама постановка вопроса «преступления и наказания»: наличие некоей жесткой и даже «ортодоксальной» нравственной системы, не терпящей никаких компромиссов. Данте — неумолимый судья, создавший собственную математически выверенную схему преступлений и наказаний, где строго и иногда жестоко сформулированы моральные принципы.

Это и чувство «любви-ненависти»: дантовский экстремальный надрывный патриотизм, его любовь-ненависть к предавшей его родной стране, излившаяся в яростных инвективах и проклятиях Италии и Флоренции; это ненависть, основанная на любви. Дантовское изгнанничество — это глубоко обоснованная нравственная позиция, сознательно выбранный образ жизни, воспринятый писателями первой волны русской эмиграции. Данте — великий индивидуалист и беспощадный оппозиционер

системе; еще раз вспомним ахматовские строки: «Он и после смерти не вернулся...»

Это, конечно, и упоение «бездны мрачной на краю...»: некий болезненный интерес к загробному и inferнальному, неизбежно присутствующий в русском сознании. Дантовская демонология оказывается удивительно созвучной бесконечным бесам русской литературы, от Пушкина до Достоевского и Булгакова, а нескончаемая череда дантовских «мертвых душ» органично переходит в гоголевскую поэму. Данте — готический писатель, поэтому его любили как русские романтики, отдавая дань характерному для эпохи увлечению готическим Средневековьем, так, конечно, и русские символисты.

Это и бессмертная тема «стихов о прекрасной даме». Данте — мистик, его вечная тема — любовь и смерть, бесплотная любовь к призрачной Беатриче. Странные видения и сны «Новой жизни» оказываются удивительно созвучными поэзии русского Серебряного века, некоторые блоковские строки кажутся перепевом дантовских. Настоящий культ Данте, созданный русскими декадентами, подтверждает наблюдение о типологической близости Серебряного века и средневековья — долгого декаданса, наступившего после золотого века античности.

### *Структура сборника*

Русская дантология, насчитывающая немало известных имен, является неотъемлемой частью мировой италянистики. В русской классической литературе обращение к творчеству великого флорентийца также стало традицией — достаточно назвать имена Пушкина и Гоголя. Русская дантология обладает и давней переводческой традицией.

Большой объем в нашем сборнике занимают работы о Данте поэтов и писателей, историков и философов Серебряного века.

Русский Серебряный век в значительной степени проходил под знаком Данте. Правда, этот «знак», как и вся культура Серебряного века, принадлежал только элите. К началу XX века русские читатели уже имели полные и для своего времени весьма добротные переводы «Божественной комедии», осуществленные Д. Е. Мином, Н. Н. Головановым, Н. О. Чуминой. Тем не менее, если имя Данте в России было хорошо известно в кругах интеллигенции, широкая публика читала его мало.

В 1905 году Д. К. Петров писал: «Мы все-таки не скажем, что Данте, подобно Шекспиру, Гомеру или Гете, является важным составным элементом русской образованности»\*.

Серебряному веку с его жаждой всеобщего обновления, стремлением к синтезу, тягой к запредельному, культом вечной женственности был чрезвычайно близок таинственный всеобъемлющий Данте с его упованием на преображение мира посредством соединения земного и небесного и мистико-эротическим поклонением женскому началу. Почти все значительные русские философы и писатели Серебряного века в той или иной степени отдали дань великому итальянскому поэту. Правда, никто из них, за исключением Д. С. Мережковского, не посвятил ему серьезного монографического исследования. (Жанровое своеобразие книги Мережковского о Данте определить крайне трудно. Подобные произведения писателя предшествующей поры затруднялся отнести к какому-либо жанру даже такой тонкий литературовед, как В. Ф. Ходасевич. Думается, что можно определить жанр публикуемой в настоящем сборнике книги Мережковского о Данте как художественное исследование\*\*.)

Д. С. Мережковский, один из провозвестников символизма в России, на протяжении всей своей творческой жизни занимался Данте. Уже в своем первом сборнике критических эссе «Вечные спутники» (1897) он пишет о Данте (правда, не в отдельной главе, а в контексте размышлений о А. С. Пушкине), явно планируя посвятить итальянскому поэту специальное исследование. Однако осуществить свое намерение Мережковский сумел лишь во второй половине 30-х годов, когда ему удалось получить для этой цели стипендию от самого Бенито Муссолини\*\*\*.

---

\* Петров Д. К. Дидактика у Данте // Скартаццини. Данте. СПб., 1905. С. 1.

\*\* Знаменательно, что в книге О. В. Кулешовой «Притчи Дмитрия Мережковского. Единство философского и художественного» (М., 2007), посвященной философской прозе Д. С. Мережковского эмигрантского периода, его книга о Данте даже не рассматривается, а другие его произведения аналогичного жанра называются «философско-биографическими романами-концепциями».

\*\*\* Отвечая своим многочисленным критикам, Мережковский еще в 1925 г. писал: «Пусть я говорю не так, как надо, и не то, что надо, но я говорю не то, что все» (*Мережковский Д. С. Тайна трех. Прага, 1925. С. 143*). Ср.: В. Я. Брюсов: «Он (Мережковский. — *Сост.*) ставит вопросы, а не повторяет старые ответы».

Большое значение имел Данте в творчестве другого выдающегося русского писателя-символиста В. И. Иванова. В сборнике публикуется фрагмент теоретической статьи В. И. Иванова «О границах искусства», где речь идет о творчестве Данте; кроме того, в приложении впервые публикуется перевод всех тех песен «Божественной комедии», которые были сделаны поэтом для издательства Брокгауза-Ефрона. (Это издание не было осуществлено.) Роли Данте в творчестве В. И. Иванова посвящена публикуемая в разделе «Исследования» работа одного из крупнейших специалистов по творчеству русского поэта, хранителя его римского архива А. Б. Шишкина.

Другая часть перевода для того же самого издания осуществлялась видным поэтом-символистом и переводчиком В. Я. Брюсовым. Кроме первой песни «Ада» (это все, что сохранилось в архиве поэта от работы над переводом «Божественной комедии») публикуется статья В. Я. Брюсова «Данте — путешественник по загробью»\*. Развитию представления о загробном мире от Гомера до Данте посвящена статья близкого к символистскому кругу выдающегося русско-польского филолога-классика Ф. Ф. Зелинского.

В полном смысле слова поклонявшийся Данте поэт-символист и переводчик Эллис (Л. Л. Кобылинский), у которого, по словам хорошо его знавшего А. Белого, «в то время, когда в одном полушарии мозга его стоит бюст Карла Маркса, в другом вспыхивает видение Данте с мистической розой»\*\*, планировал посвятить Данте монографическое исследование. Однако этот план (как и многие другие намерения писателя) не был осуществлен. Единственная известная глава из этой работы, отмеченная крайней и не всегда адекватной эмоциональностью, вошла в состав нашей антологии.

В состав антологии включен также фрагмент, посвященный Флоренции Данте, из книги «Образы Италии» выдающегося искусствоведа П. П. Муратова, книги, на которой воспитывались и будут воспитываться поколения итальянистов и просто всех поклонников этой прекрасной страны.

---

\* Шатаясь по притонам Парижа, Брюсов 23 сентября 1909 г. пишет жене: «Чувствую себя как Дантэ, сходящий в Ад, и, конечно, как Дантэ, надеюсь выйти из Ада к Раю и вынести на землю бессмертную песню».

\*\* *Белый А.* Начало века. М.; Л., 1933. С. 35.

В начале 20-х годов увидел свет художественный очерк «Данте и его поэма», принадлежащий перу писателя-импрессиониста Б. К. Зайцева, друга П. П. Муратова и такого же, как он, страстного поклонника Италии. В годы немецкой оккупации Парижа живший там Зайцев усердно работал над прозаическим переводом «Ада». Этот перевод вышел в Париже в 1961 году.

О значении Данте для акмеистов наглядно свидетельствует «Разговор о Данте» О. Э. Мандельштама, написанный вскоре после того, как поэт, овладев итальянским языком, буквально «заболел» «Божественной комедией». А. А. Ахматова, которая по ее собственным словам, всю жизнь читала Данте в подлиннике и для которой «Божественная комедия» была, возможно, главной книгой ее жизни, утверждала, что именно любовь к Данте была основным связующим звеном между такими разными поэтами, как она, Мандельштам и Н. С. Гумилев.

Отблеск акмеистской эстетики лежит и на непревзойденном и классическом во всех отношениях переводе М. Л. Лозинского «Божественной комедии». Ему же принадлежит подробный комментарий к поэме Данте, а также публикуемое в антологии предисловие к его переводам.

Творчеству Данте посвятила свой доклад в Вольной Философской Ассоциации (ВОЛЬФИЛе) известная советская писательница О. Д. Форш.

При составлении сборника мы не придерживались хронологического принципа, расположив весь комплекс материала следующим образом. Первый раздел посвящен восприятию дантовского наследия русскими поэтами и литераторами (Д. С. Мережковским, Вяч. Ивановым, Эллисом, В. Я. Брюсовым, П. П. Муратовым, Б. К. Зайцевым, О. Д. Форш, О. Э. Мандельштамом, М. Л. Лозинским, А. А. Ахматовой). Второй раздел объединяет статьи русских философов и историков по различным проблемам — это и дантовская картина мира, и политические взгляды великого изгнанника (работы Ф. Ф. Зелинского, И. М. Гревса, Г. В. Флоровского, П. А. Флоренского, Н. А. Бердяева, А. Ф. Лосева, Г. П. Федотова, М. М. Бахтина). В третьем разделе «Данте и Россия» мы помещаем исследования о восприятии дантовского наследия на русской почве (работы Д. Д. Благого, И. Н. Голенищева-Кутузова, А. А. Асояна, С. И. Бэлзы, Р. И. Хлодовского, А. А. Тахо-Годи, А. Б. Шишкина, Л. Д. Бугаевой). Четвертый раздел «Исследования о Данте» объединяет работы русских ученых в области «класси-

ческой дантологии» (статьи А. Н. Веселовского, М. В. Алпатова, Ю. М. Лотмана, И. Ф. Бэлзы, А. А. Илюшина, А. Л. Доброхотова, В. Л. Рабиновича, М. Л. Андреева).

В приложении мы публикуем переводы Данте, сделанные В. Я. Брюсовым, Вяч. Ивановым, Б. К. Зайцевым.

Для русских философов наиболее интересным аспектом творчества Данте был социальный. Об этом свидетельствуют публикуемые в антологии статьи Г. П. Федотова, Г. В. Флоровского, а также статья крупнейшего русского медиевиста начала XX века И. М. Гревса. Для Н. А. Бердяева, равно как для М. М. Бахтина, Данте был особенно интересен в сопоставлении с творчеством Ф. М. Достоевского, а П. А. Флоренскому в контексте его математических штудий. А. Ф. Лосев в начале 30-х годов (вскоре по возвращении из лагеря) читал лекции о творчестве Данте. (Сохранившийся их конспект публикуется в антологии.)

Исследования советских дантологов представляют особый, но специфический интерес. Налет марксизма (более или менее поверхностный) — дань скучной и ограниченной эпохе — часто умаляет глубину и оригинальность исследований о Данте российских литературоведов и историков, поставленных в жесткие идеологические рамки советского времени. По этой причине в сборник не вошла известная большая работа А. К. Дживелегова о Данте. Знающему и высокопрофессиональному автору книги и целого ряда других публикаций о Данте Дживелегову существенно вредил его социологизм. Вот, например, как А. К. Дживелегов объясняет бесплотность и бестелесность образа ангельской Беатриче: «Рационалистическим характером усиленно развивавшейся во Флоренции буржуазной культуры обуславливается все большая и большая абстрактность этого образа»\*.

Немногие исследователи смогли выбиться из жестких рамок идеологии эпохи. Тем не менее работы советского периода объединяет и то, что проблемы в этих исследованиях ставятся широко и фундаментально — одно из редких достоинств исторической науки этого периода. Это основополагающие работы Д. Д. Благого, И. Н. Голенищева-Кутузова, М. В. Алпатова, А. Ф. Лосева, М. М. Бахтина. Особо выделить необходимо известное исследование А. А. Асояна о судьбах дантовского наследия в России.

---

\* Дживелегов А. К. Данте Алигиери // Литературная энциклопедия. Т. 3. 1930. С.149.

В последние годы интерес к Данте снова оживился, и приближающийся юбилей — всего лишь повод для исследователей, хотя Данте — великий мистик, нумеролог, астролог и пифагореец — конечно, не оставил бы без вычислений магию смены тысячелетних чисел. Сейчас мы особенно остро ощущаем необходимость осознать судьбы Европы, судьбы европейской культуры и судьбы этики в наш век всеобщего релятивизма и распавшейся связи времен.

Не все современные исследования получили отражение в нашем сборнике. Это и необычное в плане постановки вопроса исследование К. Сергеева «Театр судьбы Данте Алигьери: введение в практическую анатомию гениальности». Это и фундаментальное исследование о Данте И. Гарина — часть его многотомного труда «Пророки и поэты». Эти работы читаются увлекательно, так как их авторы владеют истинно дантовским искусством писать просто о сложных вещах. К сожалению, наш сборник оказался не в состоянии вместить эти масштабные исследования.

Современные российские исследования, лишённые всяческого рода идеологизирования советских десятилетий, составляют одну из важнейших частей сборника. Это работы И. Ф. Бэлзы, С. И. Бэлзы, В. Рабиновича, А. А. Илюшина, Л. Д. Бугаевой, А. Б. Шишкина, М. Л. Андреева.

Самая приятная, хотя и официально необходимая часть вступительной статьи — слова благодарности. «Тень Данте с профилем орлиным» склоняется перед теми, кто помог появиться на свет этому сборнику. Это и крупный итальянист, почетный член Итальянского Дантовского общества М. Л. Андреев, предоставивший нам материалы своих работ, без которых состав этой книги был бы печально неполон. Это, конечно, и выдающийся специалист по Серебряному веку, профессор университета Салерно А. Б. Шишкин, приславший нам из римского архива Вяч. Иванова такие необходимые нам материалы. Это и известный переводчик И. В. Соболева, молниеносно сделавшая перевод рецензии Б. Кроче на книгу Мережковского. Это и президент русско-итальянского фонда «Диалог культур», профессиональный физик Ю. А. Ромашов, написавший интереснейший комментарий к такой непостижимо сложной для гуманитариев работе, как «Мнимости в геометрии» П. А. Флоренского. Это и замечательный петербургский библиофил В. Н. Воронович, предоставивший для работы над сборником редкие и ценные издания из своей богатейшей библиотеки. Это и талантливый литературовед Л. Д. Бугаева, написавшая статью

специально для нашего сборника. Это и Е. А. Прибыткова, любезно давшая нам разрешение на публикацию ее перевода статьи Г. В. Флоровского.

Особые слова благодарности — молодым и очень молодым университетским исследователям, настолько увлеченно работавшим над дантовскими текстами, что даже сама тень великого флорентийца из созвездия Близнецов, сопровождавшего его земную жизнь, благосклонно взирала на будущее дантологии третьего тысячелетия.

Это прежде всего медиевист В. В. Андерсен, координировавший организационную часть нашей работы и вложивший свое творческое начало даже в техническую сторону процесса. Это и К. Ланда, Д. Фарафонова, А. Медведовская, М. Кедрова, Е. Золотайкина, оказавшие нам техническую помощь на разных этапах работы над сборником, а также Н. В. Шауб и А. И. Шауб. Мы благодарны итальянскому банку Интеза, без материальной помощи которого это издание осуществилось бы еще не скоро.

Наши финальные слова благодарности обращены к самому Данте: «Почтите высочайшего поэта».



**ПОЭТЫ И ЛИТЕРАТОРЫ  
О ДАНТЕ**



## Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

### Данте

<Фрагменты>

#### ЧТО СДЕЛАЛ ДАНТЕ

##### I

##### INCIPIT COMMEDIA

Данте Алагерия, флорентийца по крови, но не по нравам, начинается «Комедия», incipit Commedia — так озаглавил сам Данте книгу свою и главное дело всей своей жизни\*. Он назвал ее просто «Комедией»; «Божественная» прибавят потом его ученые истолкователи и поклонники.

Вот как он сам объясняет это заглавие книги: трагедия отличается от комедии тем, что, начинаясь радостно или спокойно, кончается горестно; а комедия, наоборот, начинаясь беспокойно или горестно, кончается радостно. «В книге моей начало горестное — Ад, а конец счастливый — Рай: вот почему я и назвал ее «Комедией» и еще потому, что «высокий и торжественный» язык трагедии доступен лишь немногим, а в его, Дантовой, книге язык «простонародный, смиренный», vulgaris, humilis, так прост, что

---

\* *Ер.* XIII.

и простейшим людям понятен\*. Вот когда гордый Данте смиряется: к людям идет, нелюдимый, избранный; один идет ко всем, потому что знает, что сказанное — сделанное им нужно для всех и для всех возможно.

Данте мог заимствовать заглавие «Комедия» от бывшей тогда в большом ходу мистерии народного театра, «Духовной комедии», *Commedia Spirituale*, изображавшей иносказательно, аллегорически, вечные судьбы человеческой души в обоих мирах, здешнем и загробном\*\*.

«Новая Жизнь начинается», — «начинается Комедия», *incipit Vita Nova*, — *incipit Commedia*: в явном соответствии этих двух заглавий выражена тайная связь двух великих книг — двух половин жизни Данте, — любви его к Беатриче земной и любви к Небесной; начатое там, в «Новой жизни», кончено здесь, в «Комедии».

В 1292 году, почти тотчас по смерти Любимой, начато или, по крайней мере, зачато, задумано, а в 1321 году, почти в канун его собственной смерти, кончено.

«Было мне видение, в котором я увидел то, что мне внушает не говорить больше об этой Благословенной, пока я не буду в силах говорить о ней достойно. К этому я и стремлюсь, насколько могу... так что, если будет угодно Тому, в Ком все живет, даровать мне еще несколько лет жизни, я надеюсь сказать о ней то, что никогда, ни о какой женщине не было сказано»\*\*\*. И не только сказать, но и сделать для нее надеется он то, что никогда, ни для какой женщины не было сделано. Этой надеждой кончается «Новая жизнь», а исполнением надежды кончится «Комедия» — Дантова вечная Новая Жизнь.

В двух последних словах первого стиха «Комедии»: «Наша (человеческая) Жизнь», *Nostra Vita*, — дано второе возможное заглавие книги, потому что вся она не что иное, как самим Данте рассказанная повесть о жизни его; такой же, как Августинова «Исповедь», дневник внутреннего падения, гибели, — Ада, и внутреннего восстания, спасения, — Рая. А если так, то третье возможное заглавие верно угадано современниками Данте, когда в 1373 году, полвека по смерти его, Флорентийская Коммуна,

---

\* *Ep.* XIII.

\*\* *F. de Sanctis. Pagine dantesche* (1921), p. 196; *Storia [della] lett[eratura] ital[iana]* I, 73.

\*\*\* *V. N.* XLII.

трижды осудившая живого Данте на смерть и начавшая славить мертвого, поручила Боккачио «нравственное и риторическое, понятное и людям неученым, истолкование книги, именуемой в просторечии: Данте, *il Dante*»\*. Смысл этого имени тот, что главное содержание Дантовой книги — он сам. «Книга эта есть нечто единственное и ни на что не похожее, потому что совершенно личное», — верно понял Шеллинг\*\*. Потому-то книга эта и самая общая, всечеловеческая из всех человеческих книг, что она — самая личная. Может быть, ни у какого другого писателя не совпадает так, как у Данте, отдельное «я» человека с общим «Я» человечества, вечная судьба одного — с вечными судьбами всех. Кажется, никто из людей, оставаясь в миру, не уходя из мира, как после первых веков христианства уходят все великие святые, — не жил, не любил и не страдал один за всех больше, чем Данте. Вот почему действительную меру «Комедии» дает он сам в том имени, которым называет ее дважды в ней самой: «поэма священная» — «святая поэма»\*\*\*. Может быть, в самом деле, ближе всех человеческих книг к единственной Книге Божественной — Священному Писанию, эта «Святая Поэма» грешного Данте.

«Дух дышит, где хочет». Кажется иногда, что, если бы над челом Данте не вспыхнул огненный язык Духа, он не мог бы сказать того, что сказал в «Комедии».

Сколько миров — один или два, — это надо решить, чтобы увидеть, что сделал Данте в своей книге. Если кроме этого мира есть и другой, то, за две тысячи лет христианства, никто, кроме великих святых, не сделал больше, чем Данте, потому что никто с большею силою не утверждал того взаимодействия этих двух миров, которое есть единственно возможный для человечества путь к Царству Божию. А если мир один, то Данте ничего не сделал, — по крайней мере для той цели, которую он сам себе поставил: «Вывести людей из несчастного состояния» — Ада и «привести к состоянию блаженному» — раю\*\*\*\*; только обманул себя и долго обманывал других, но теперь уже никого не обманет, потому что уже по-настоящему не верит, что есть мир иной; а если кто-нибудь

---

\* *I. del Lungo*, p. 16.

\*\* *Scartazzini*, p. 461.

\*\*\* *Par.* XXIII, 63; XXV, 1.

\*\*\*\* *Ep.* XIII.

еще и верит, то, судя по нынешнему состоянию мира, — так бездейственно, что вера эта никому не мешает, оставаясь во временном аду, ждать вечного.

Сколько миров — один или два, — это надо решить и для того, чтобы понять Данте как художника. Если мир один, то все художественные образы его непроницаемо тусклы и плоски; а если кроме этого мира есть иной, то они глубоки и прозрачны. В первом случае искусство останавливается на поверхности явлений; во втором — идет в глубину, к тому, что за явлениями: все образы для него — только вещие знаки, знамения иного мира, символы. Вот почему Данте, величайший утвердитель двух миров, — и символ величайший,

Все преходящее  
Есть только знак<sup>1</sup>, —

«подобие» — «символ»: в этом согласен с Данте противоположный двойник его, Анти-Данте, Гете\*. В двух мирах оба живут, с тою лишь разницей, что Гете хочет двух, или не может выйти из них, а Данте хочет одного, соединяющего два — в Третьем, и действительно входит в Третий мир. Сын Дантовой «Комедии», восстающий на мать и ее убивающий, — «Фауст». Душу свою продает дьяволу Фауст, а может быть, и сам Гете; душу свою искупает Богу Данте. Но что можно душу искупить или продать, спасти или погубить, — знают оба.

Очень редкие люди, обладающие верною памятью снов, помнят, что верхние, к яви ближайшие слои их относятся только к здешнему миру и потому «вещественны», «реалистичны» (res — вещь), и непроницаемо тусклы так же, как образы искусства, видящего только здешний мир; а нижние, от яви самые далекие слои относятся к миру нездешнему, и потому прозрачны — «символичны», и чем ниже, тем прозрачнее: это «вещие сны», те, что наяву исполняются и так же действительны, как явь, или еще действительней.

Данте — великий сновидец: полвека длится его сновидение — Ад, Чистилище, Рай, — и даже тогда, когда он просыпается, бодрствует, явь не прерывает сна, потому что проходит сквозь него, как твердое тело — сквозь облако. Ниже, чем Данте, никто

---

\* Ер. XIII.

не сходил к тем глубинам сна, где, может быть, зияют прорывы из этого мира в тот, и никто не был памятьливей к этим прорывам, чем он. Можно сказать, что все творчество его есть не что иное, как вещая символика снов. Вот почему и о бытии мира нездешнего свидетель несомненнейший — он.

Самый глубокий и прозрачный, символический, оба мира наиболее соединяющий из всех языков человеческих — язык Иисусовых притч.

...И вошел в лодку и сидел на озере; а весь народ был на земле у озера. И учил их притчами много (Мк. 4, 1–2).

«Притча», по-гречески, *ainigma*, «загадка» или *parabolê*, «сравнение», «подобие», от *parabalilên*, «перекидывать»: притча-парабола — как бы перекинутая с лодки на берег — из того мира в этот, из вечности во время. «Притча», по-еврейски, *агада*, «повествование», «рассказ» о том, что было однажды и бывает всегда; а «притча», *maschal*, — «иносказание», «подобие», в смысле гетевском: «Все преходящее есть только подобие», «сравнение», «символ», — как бы из того мира в этот поданный знак, перекинутый мост\*.

«Все, что у вас, есть и у нас; это я уж тебе по дружбе одну нашу тайну открываю, хоть и запрещено», — скажет черт Ивану Карамазову\*\*. «Все, что у вас», — в здешнем мире «есть и у нас», — в мире нездешнем. Притча — подобие, соответствие, согласие, созвучие, символ — симфония того, что у нас, с тем, что «у них». Тот мир отвечает этому, как звенящей на лютне струне отвечает немая струна. Все, что «у них», обратно подобно всему, что у нас (первое на земле слово Иисуса, из того мира к этому: «обратитесь», *strafête*<sup>2</sup> — «перевернитесь», «опрокиньтесь»); тот мир опрокинут в этом, как небо — в зеркале вод; и стоящие на берегу люди, и лодка в озере, и сидящий в лодке, сказывающий притчу, Иисус, — как бы два ряда противоположно-согласных отражений, совпадений, символов: один ряд — в слове, другой — в действии.

Узами подобий, символов, как звеньями золотой, с неба на землю опущенной, цепи, возносится душа человеческая от земли

\* *A. Jülicher. Gleichnisreden Jesu* (1910), p. 33. — *M. J. Lagrange. Évangile de J[ésus]-Chr[ist]* (1930), p. 13.

\*\* *Достоевский*. «Бр. Карамазовы», XI, 9.

к небу, в неощутимых для нее полетах, как бы в исполинских астрономических «параболах» (то же слово для притчи, *parabole*, как для движения небесных тел).

Мир сей как бы пленяется, соблазняется в притчах его же собственным мирским соблазном; уловляется в его же собственные мирские сети\*.

Отплыти на глубину, и закиньте сети (Лк. 5, 4).

Сети — притчи, символы; мир — глубина\*\*.

Лучше этого никто не понял и не сделал, чем Данте; в большую глубину мира, для большого лова человеческих душ, никто не закидывал сетей своих — символов-притч. Это делали и святые в церкви; но Данте, может быть, первый после Иисуса и ближайших к Нему учеников сделал это в миру.

О, вы, имеющие здравый ум,  
Поймите *тайное мое ученье*,  
Скрытое в стихах необычайных!\*\*\*

Явное учение Данте — от Школы и Церкви — от Фомы Аквинского и Аристотеля; «тайное» — от него самого и от Духа. «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ио. 3, 8). Дантова «Святая Поэма» есть впервые услышанный людьми не в Церкви, а в миру, голос Духа.

«Смысл этой книги не единствен, а множествен, — объясняет сам Данте. — Первый смысл ее буквальный — состояние душ после смерти; второй, иносказательный (аллегорический)... награда или возмездие человека, смотря по тому, чего заслужила его свободная воля»\*\*\*\*. Данте, смешивая здесь так же, как все его современники, символ с аллегорией, не видит, как существенно между ними различие. Иносказание, аллегория, делается, символ рождается; та произвольна, как все дела человека наяву; этот неволен, как то, что человек видит во сне; та соединяет явления мира, этот соединяет миры.

\* *Jülicher*, p. 118.

\*\* *Д. Мережковский*. «Иисус Неизвестный». II, 3.

\*\*\* *Inf.* IX, 61.

\*\*\*\* *Ep.* XIII.

Степени символической прозрачности в «Комедии» неравномерны, как бы самое тело ее, вещество, из которого она образована, то густеет, то редет, как облако.

Ангел благоразумия, Prudenza, с тремя очами; Люцифер с тремя пастьями; хвост адского судьи Миноса<sup>3</sup>, свиваемый в столько колец, на сколько кругов ада осужден быть опущен грешник; сложный узор на теле Гориона-чудовища<sup>4</sup>, означающий сложные хитрости лжи: все это, конечно, аллегория, а не символы\*. Но если Данте смешивает их в сознании своем, то в художественной воле различает. Явное учение его — в аллегориях, тайное — в символах.

Здесь заостри, читатель, взор твой к правде,  
Затем, что здесь покров на ней так тонок,  
Что сквозь него легко очам проникнуть\*\*.

Этого «покрова» тонкая, легко для глаза проницаемая, прозрачная ткань соткана из всех явлений здешнего мира, понятых, как вещие знаки, знамения, символы мира нездешнего.

Святая ночь на небосклон взошла,  
И день отрадней, день любезней,  
Как золотой ковер, она свила, —  
Ковер, накинутый над бездной\*\*\*.

Дантова «Святая Поэма» и есть эта свивающая накинутый над бездной «золотой ковер» — «покров дня» — Святая Ночь, потому что в здешнем порядке день покрывается ночью, а в нездешнем — ночь — днем:

Светом полуденным ночь покрывается, —

по древневавилонской и Дантовой мудрости.

Люди, растения, животные, звезды — все явления мира — для Данте, как для древних Египтян, — иероглифы, священные письмена, начертанные Божьим перстом; вещие знаки, знамения, символы. Все всему отвечает; все сквозь все просвечивает. Тело

\* *Purg.* XXXIX, 132. — *Inf.* XXXIV, 37; V, 10; XVII, 14.

\*\* *Purg.* VIII, 19.

\*\*\* Тютчев.

мира, тусклое для нас, как булыжник, для Данте прозрачно, как драгоценный камень.

Вещеe знаменье неба на земле повторяется;  
Вещеe знаменье земли повторяется на небе, —

эту древневавилонскую клинопись лучше Данте не понял бы никто\*.

...Есть порядок вечный  
Один повсюду; делает он мир  
Подобным Богу. Высшие Созданья  
Могущества Божественного след  
Здесь, в небе, созерцая, постигают  
Во всем одну божественную цель\*\*.

Бог прошел по миру и оставил следы свои в мире — символы. Дантова «Комедия» есть путь человечества по следам.

Что св. Бонаventura говорит о св. Франциске Ассизском, можно бы сказать и о Данте: «Следовал он за Возлюбленным, по запечатленным в твари следам Его, делая из всего лестницу, которой восходил к Нему»\*\*\*.

Смысл «Комедии» — «возводящий, анагогический, *sensus anagogicus*», по слову Данте: это и значит, что вся она — возводящая от земли к небу лестница, чья каждая ступень — символ.

...И увидел (Иаков) во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. (Быт. 28, 12)

Виденное Иаковом во сне некогда увидят люди наяву.

Отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому (Ин. 1, 51).

---

\* Д. Мережковский. «Тайна Трех» (1925).

\*\* *Purg.* I, 103.

\*\*\* *Acta Sanctorum.* Oct. II, 742.

Это люди видели, а потом перестали видеть и забыли. Данте первый это вспомнил сам и напомнил другим; снова увидел наяву вещей сон Иакова.

Когда душа моя вернулась к яви,  
То понял я моих видений правду\*.

К яви — к действию — надо вернуться и нам, чтобы понять правду Дантова сна-созерцания, потому что «цель всего творения (“Комедии”) — не созерцание, а действие».

Сколько миров, один или два? Ответом на этот вопрос решается все, что будет с нами не только в вечности, но и здесь, сейчас, на земле. Это надо знать так, как знает Данте, чтобы понять не отвлеченно-созерцательный, а жизненно-действенный, и всю действительность жизни меняющий смысл «Комедии».

После Ньютона и Коперника рушилось бы, вместе с Птолемеевой системой, все строение Дантова мира — Ад, Чистилище, Рай, — если бы этот мир не был символичен — прозрачен и неразрушим, как алмаз.

Кто это понял, тот знает, что человеческая трагедия делается «Божественной комедией», — Дантова мистерия осуществится в истории так, что вещей сон Данте наяву исполнится: чем спасся один человек, спасется и все человечество. К этому спасению найденный в Святой Поэме путь — «всех чудес начало — *Три в Одном*».

## II

### ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ

«Вывести человека из состояния несчастного, в этой жизни (земной), *in hac vita*, и привести его к состоянию блаженному есть цель “Комедии”»\*\*. Мог ли бы Данте разумно поставить себе такую невероятную, превосходящую силы не только одного человека, но и всего человечества, цель, если бы не был уверен, что воля его, стремясь к этой цели, совпадает с какою-то действующею в мире Высшею Волей?

---

\* *Purg.* XV, 115.

\*\* *Ер.* XIII.

«Бог... поставил человеку две цели: *счастье в жизни земной...* знаменуемое *Раем Земным*, и вечное блаженство... знаменуемое *Раем Небесным*»\*. Чувствует ли Данте всю режущую остроту, новизну, необычайность и грозную ответственность того, что он здесь утверждает как «новую, никогда еще людьми не испытанную истину»? Помнит ли, что этого не утверждал — не испытал никто из святых, за последние десять-одиннадцать веков христианства, кроме, может быть, двух противоположно-ближайших к нему, таких же одиноких и непонятых, как он, — св. Бернарда Клервоского и св. Франциска Ассизского?

«Будет Рай земной» —

этими тремя словами Данте уничтожает десять-одиннадцать веков христианской святости, или сам уничтожен ими. В религиозном опыте святых утверждается блаженство небесное, купленное жертвой всех радостей земных; но если не тщетно прошение молитвы Господней: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», то Царство Божие будет не только на небе, но и на земле — это люди помнили два-три века христианства, а потом забыли. Данте первый вспомнил сам и другим напомнил.

В религиозном опыте святых утверждается противоборство двух миров, а в опыте Данте — их взаимодействие. Дух и плоть — два непримиримых начала для святых, а Данте их примиряет или, по крайней мере, хочет примирить, знает, что это надо и можно сделать.

Если быть святым — значит быть духовным — бесплотным, то воскресение плоти не нужно; нужно только «бессмертие души». Плотское воскресение мертвых — только вспоминаемый догмат, а не переживаемый опыт святых. Люди помнят, что Христос воскрес, как слепые помнят солнце.

В догмате святых — Три: Отец, Сын и Дух; а в опыте — Два: Отец и Сын, земля и небо, здешний мир и нездешний. Данте делает или, по крайней мере, знает, что надо сделать свой опыт догматом — соединить Отца и Сына в Духе, два мира в одном, третьем, землю и небо — в Царстве Божием на земле, как на небе. «Мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (II Петр. 3, 13) — что это значит, люди забыли; Данте первый вспомнил.

---

\* *Мон.* III, 16.

Знает ли он, или не знает, что в этом догмате-опыте святые не с ним, а может быть, и против него — только этим он и живет, это любит и этим спасается.

Чтобы «вывести человека из состояния несчастного и привести его к состоянию блаженному, *в этой жизни*», земной, — надо избавить людей от того, что делает их несчастнейшими из всех тварей, потому что единственными из всех сознающими свое непоправимое несчастье — смерть. Но избавить от нее людей нельзя никакою силою естественной, потому что смерть — самый общий и крепкий, неодолимейший из всех законов естества; можно победить смерть, или хотя бы только начать с нею борьбу, лишь с помощью какой-то сверхъестественной, из того мира в этот действующей силы, — тем, что в древних мистериях называется «магией», «теургией». Эти два слова давно уже потеряли для нас всякий разумный смысл. «Магия» кажется нам только жалким и диким, при нынешнем духовном уровне человечества, невозможным суеверием первобытных людей, но многим ли из нас не кажется и плотское воскресение Христа, как начало возможной физической победы человека над смертью, почти таким же диким и жалким суеверием? Вот почему тем, для кого Воскресение значит что-то действительное, хотя как будто и противное всем законам естественным, не должно забывать, что христианство — единственная действительная Религия — родная дочь той неузнанной Матери, чье имя было в детском лепете человечества «Магия»; и что если даже мать умерла, то живой дочери от нее отрекаться не следует. Верующим во Христа не должно забывать, что первыми людьми, узнавшими, что Христос родился, и ему поклонившимися, были Маги, Волхвы. Знали они, конечно, поклоняясь Ему, кем Он будет и что сделает; знали, что Он, Христос, родился, чтобы кончить то, что начали они, или хотели начать, — смертью смерть победить — воскреснуть и воскресить мертвых. Если Христос вечно рождается, умирает и воскресает в сердце человеческом, то и дело Магии — вечное. Вся она — путь в ночи, по одной ведущей Звезде, к двум целям, — к тому, чтобы Христос родился, и к тому, чтобы Он воскрес.

«Цель человеческого рода заключается в том, чтобы осуществить полноту созерцания, сначала для него самого, а потом для действия», по чудному слову Данте в «Монархии», одной из самых пророческих и непонятных книг\*. «Цель всей этой книги... не со-

---

\* *Мон.* I, 4.

зерцание, а *найденное новое действие*», opus inventum, по слову Данте, в «Комедии»\*.

Эта цель человека и всего человечества есть выход из «состояния несчастного» — земного Ада, в «состояние блаженное» — Рай Земной, из вечной смерти в вечную жизнь — воскресение мертвых.

Слово «поэзия» — от греческого слова poiein — «делать»\*\*. Данте, поэт, больше всех других великих поэтов — «делатель»: вся его поэзия — величайшее из всех человеческих дел — «теургия», «магия», воскрешающая мертвых силою любви:

Любовь, что движет солнце и другие звезды.

Здесь, уже в механике — начало «магии»; «всех чудес начало» — в необходимости.

Данте вызывает тень загробного мира, как Аэндорская волшебница — тень Самуила. «И сказал Самуил Саулу: “Зачем ты тревожишь меня?” и ответил Саул; “Тяжко мне очень. Я вызвал тебя, чтобы ты научил, что мне делать”» (I Цар. 28, 15).

Мертвых вызывает Данте для того, чтобы знать, что делать ему, человеку, и всему человечеству.

Всех живых и мертвых соединяет как бы круговая порука в общем деле — борьбе с последним врагом — Смертью: «последний же враг истребится — смерть» (I Кор. 15, 26).

Эту первую и последнюю Дантову мысль о воскрешении мертвых, как возможном действии всего человеческого рода, — мысль, которая кажется нам такой нелепой, невозможной, ненаучной, несвоевременной, высказывает один из самых научных, современных философов, Бергсон: «Все живые существа друг за друга держатся и увлекаются одним и тем же невероятным порывом. Точку опоры находит животное в растении, человек — в животном; и все человечество в пространстве и во времени есть как бы великое воинство, движущееся рядом с каждым из нас, и впереди и позади каждого, в одном стремительном натиске, способном опрокинуть многие преграды, — *может быть, даже смерть*»\*\*\*. «Может

---

\* Ep. XIII.

\*\* Papini, p. 219.

\*\*\* H. Bergson. L'évolution créatrice [(1907)], [vol.] III, [p.] 293.

быть», — говорит Бергсон, а Данте говорит: «Наверное», — вот и вся разница.

Эта уходящая в глубину будущего — в конец истории Дантова-Бергсонова воля к «воскрешающей магии» уходит и в глубину прошлого — в начало истории. Только что человек появился на земле — он уже «маг», «воскреситель мертвых».

В самых древних ледниковых пещерах, на глинистой почве рядом со следами от когтей пещерного медведя, переплетаются странные, сложные, должно быть, «колдовские», «магические» линии. Жутко, в темноте, белеют, на красной охре стен, точно в крови, отпечатки живых человеческих рук, — должно быть, тоже «магия». Ею насыщено здесь все — камни, глина, сталактиты с их вечною слезною каплей и самый воздух\*. В древнейших Ориньякских пещерах так же, как в позднейших Магдалиенских<sup>5</sup>, найдено множество слегка загнутых палок из оленьего рога, с просверленными дырами в ручках, украшенных звериной или простой узорчатой резьбой. Долго не могли понять, что это, и называли их «жезлами начальников»; наконец поняли, что это магические жезлы тех, может быть, допотопных царей-жрецов, которых Платон, в мифе об Атлантиде, называет «людьми-богами», *andres theoi*\*\*.

Это значит, что уже в пещерах каменного века родилась «магия» — действие, может быть, соединяющее или, по крайней мере, желающее соединить этот мир с тем. Только что человек появился на земле, он уже знает, что есть иной, может быть, лучший мир. Это видно из того, как он хоронит мертвых: под руку кладет им кремневое оружие, куски дичины и множество съедобных раковин: значит, будут жить — воскреснут. Связывает их иногда веревками, что видно из положения костей в человеческих остовах; или раздробляет и раскидывает кости, чтобы не соединились и не ожили, значит, боится мертвых, — знает, что они могут быть сильнее живых. Но это редко: большею частью усопшие мирно покоятся, лежа на боку, с пригнутыми к груди коленями, как младенцы в утробе матери, чтобы легче было снова родиться — воскреснуть в вечную жизнь. Красный цвет — цвет крови и жизни: вот почему мертвых окунают в жидкую красную краску — как бы зарю Воскресения.

---

\* *Th. Mainage. Les religions de la préhistoire* (1921), p. 217.

\*\* *J. de Morgan. L'humanité préhistorique* (1921), p. 69.

Только в позднейших, мегалитных могилах<sup>6</sup> просверливаются в надгробных плитах отверстия — «оконца», чтобы души могли вылетать, гулять на свободе, покинув тело; в палеолитной же древности душа и тело нерасторжимы: вместе в этом мире, вместе и в том. Как это ни странно, пещерные люди кое-что уже знают о «воскресении плоти», чего еще не знают, или уже забыли Сократ и Платон с их «бессмертьем души»\*; почти забудет после двух-трех первых веков и вся тысячелетняя, до времен Данте, христианская святость.

В Брассенпуйской пещере<sup>7</sup>, в Ориньякских слоях, найдена женская головка из слоновой кости, с пышным, в виде правильных шашечек, плетеньем волос, спереди ровно, как ножницами срезанных, а с боков ниспадающих двумя широкими и длинными лопастями, — настоящим женским головным убором первых египетских династий. Рот и глаза не обозначены резцом; но это, кажется, было сделано красками, что так легко на слоновой кости и, судя по мастерской законченности всей остальной работы, очень вероятно. Пробовали обозначить в точном снимке губы резьбой, глаза краской, и все лицо вдруг оживало чудною жизнью, простое, тихое, немного грустное, с нежною, еще детскою округлостью щек, как у четырнадцатилетней девочки. Точно такие же лица — у маленьких египетских Изид и родственных им этрусских богинь Земли-Матери. Что это? «Неужели пещерные люди уже готовили пришествие богинь-матерей и предваряли Изидины (Деметрины) таинства?» — удивляется один ученый\*\*. Да, смотришь и глазам не веришь: это она сама, Деметра-Изида — первая тень грядущей Несказанной Прелести.

*Jam redit et Virgo.*

Снова и Дева грядет, —

по мессианскому пророчеству Вергилия, Дантова спутника в Ад и в Чистилище, — Рай Земной\*\*\*: раз была уже в мире дева земная, Беатриче — Дева Небесная, Мария, — и снова будет.

Первые «маги», «воскресители мертвых» в истории, — древние египтяне. Если сделали они так много для жизни земной, для ис-

\* Д. Мережковский. «Тайна Трех»; «Атлантида — Европа».

\*\* [Ibid.]

\*\*\* *Vergil. Ecl. IV, 6.*

кустства и наук, — всего, что мы называем «цивилизацией», то, может быть, потому, что глубоко задумались, как ни один из народов, о жизни загробной. Самая древняя книга в мире — египетская книга Мертвых<sup>8</sup>, — еще одно возможное заглавие Дантовой Святой Поэмы.

Если в древнейших пирамидах, на стенах внутренних ходов и усыпальниц, почти нет иероглифных надписей, то, кажется, потому, что сама пирамида — есть исполинский иероглиф: Pir — mhanu, что значит: «Исхождение в свет», «Воскресение»: вот еще одно, самое древнее и новое, будущее, возможное заглавие Дантовой книги.

Что такое пирамида? Четыре совершенных треугольника, возносящихся от земли и соединяющихся в одной точке неба. «Я начал быть, как Бог Единый; но Три Бога было во Мне», — возвещает бог Нун, в древней египетской книге, почти с такою же точностью, как символ Никейского собора и каждая терцина, тройное созвучье, «Божественной комедии». Бог Един в Себе и троичен в мире; Бог и мир — Единица и Троица:  $1 + 3 = 4$ . Все пирамидное зодчество — соединение четырех треугольников в одной точке неба — знаменует эту божественную динамику чисел: «всех чудес начало — Три в Одним», по Дантову религиозному опыту.

Каждое утро, на песчаной равнине Гизеха, на розово-пепельной дали выжженных, с голыми ребрами, Ливийских и Моккатамских гор, в лучах восходящего солнца рдея, как бы изнутри освещенные, кристаллы пирамид возвещают людям, от начала мира до наших дней и, может быть, до конца времен, единственный путь к Воскресению — тайну Трех, Пресвятую Троицу\*. То же возвещает людям и «Божественная комедия» Данте — величайшее благовестие Трех.

Древним египтянам духовно-родственно племя Тусков (Tusci)<sup>9</sup>, населявшее Тоскану — Этрурию, Дантову родину. Так же как древние египтяне, доносит и это таинственное племя волхвов и прорицателей до полного света исторического дня II–III века христианской эры, утренние сумерки Предыстории. Та же у обоих племен погруженность временной жизни в вечную; та же их переплетенность, сближенность: «Все, что у вас, есть и у нас». Так же хорошо, как египтяне, соединяют и этрусски математическую

---

\* [Д. Мережковский. «Тайна Трех»; «Атлантида — Европа».]

точность знания с пророческим ясновидением веры. Та же у обоих племен воля к «воскрешающей магии».

«Я начал быть, как Бог Единый, но Три Бога были во Мне» — это знают и этруски не хуже древних египтян. Кажется, от глубочайшей Крито-Эгейской древности сохранили они и донесли до сравнительно поздних веков Римской Республики миф о трех богах, Кабирах может быть, заимствовав его из Самофракийских таинств, куда он занесен был, вероятно, из еще более глубокой, вавилоно-шумерийской древности: божественная тройня Близнецов — три мужские головы, изваянные на городских воротах, — встречает первая путника здесь, в Тоскане-Этрурии, так же, как изваяние двух богов Кабиров, в Самофракийской гавани, встречает пловцов\*. Трое на земле — Трое на небе, как это видно в резьбе одного этрусского драгоценного камня (геммы), где три человеческих образа являются в созвездиях Зодиака\*\*. Кто же эти Трое на небе, если не тени того, что некогда будет Пресвятою Троицей? В Ней-то и совершается изображенное в резьбе двух этрусских бронзовых зеркал заклятие Сына-Жертвы: два старших Кабира, с бородами и крыльями, с головной повязкой самофракийских жрецов (rhoíniks, «пурпур», — тот самый, в который облечется и голова убитого; красный цвет — заря Воскресения), охватив младшего Кабира, юношу безбородого и бескрылого, должно быть смертного, готовится заклать его, как жертву. Так на одном из двух зеркал, а на другом: Гермес волшебным жезлом<sup>10</sup> — силою «магии» — воскрешает убитого\*\*\*.

Как удивился бы, ужаснулся или обрадовался Данте, если бы знал, что далекие праотцы его, тосканцы-этруски, были уже такими, как он, благовестниками Трех!

Только на поверхности, в сознании своем, в дневной душе, Данте — латинянин, римлянин, а в глубине бессознательной, в душе своей ночной, — этруск. Прошлый и настоящий, временный Данте — латинянин, а будущий, вечный, — этруск.

Может быть, в 1307 году, будучи в Луниджиане послом тамошнего государя, маркиза Мороэлла Маласпина, Данте посетил пещеру великого этрусского волхва и прорицателя, Аронта<sup>11</sup>, в Лунийских, нынешних Ануанских Альпах, на побережье

---

\* *Gebhard*. Akademische Abhandlungen, p. 298, 335.

\*\* [Ibid.]

\*\*\* [Ibid.]

Лигурии. Белые, как будто снеговые, от множества жил белого мрамора, горы эти, с такими невиданно-острыми изломами, каких нет ни у какой иной горной цепи, кажутся видением нездешних, на земле невозможных и только где-то, на другой планете, существующих гор. Древняя родина этрусской Дантовой «магии»<sup>12</sup> здесь, на этих неземных, как бы лунных, горах.

Там, где внизу, в долинах гор Лунийских,  
Каррарец лес корчует, — наверху,  
Аронт, гадатель древний, жил в пещере  
Из белых мраморов, откуда мог  
Он далеко ночное море видеть  
И тихое над ним течение звезд\*.

Странствуя в этих местах, Данте, может быть, вспоминал о незапамятно-древнем, бесследно как призрак исчезнувшем с лица земли, великом этруском городе, Луни<sup>13</sup>, с тайным сочувствием вспоминает и Вергилий, путеводитель Данте в Аду, тоже этрусский колдун и гадатель, о великой прабабке своей, волшебнице Манто, дочери волхва Тирезия<sup>14</sup>, основателя этрусского города, Мантуи, где суждено было ему, Вергилию, родиться\*\*, чтобы возвестить в мессианской IV эклоге так же, как возвестили «маги», «волхвы с Востока», — рождение Христа.

Снова и дева грядет; век золотой наступает;  
Новый Отпрыск богов с высокого неба нисходит.  
Jam redit et Virgo, redeunt saturnia regna  
Jam nova Progenies coelo demittur alto\*\*\*.

Вся эта магия, — Этрурия, Предыстория, — конечно, не наяву, а в вещих снах, не в уме, а в крови у Данте, но тем она живее, действительней и тем будет неотразимее, когда воплотится в искусстве.

Данте, новый этруск, — такой же звездочет, астролог, гадатель по звездам, в Святой Поэме своей, каким был и древний этруск, колдун Аронт, в своей пещере из белого мрамора. Тихое течение

---

\* *Inf.* XX, 46.

\*\* *Inf.* XX, 55.

\*\*\* *Vergil.* Ecl. IV, 6.

звезд над миром — морем ночным, наблюдают оба, гадают по звездам о будущем; оба знают, что звездное небо — не только над человеком, но и в нем самом, в душе его и в теле.

Сохранилось вавилонское глиняное изваяние печени, *kabbitu*, разделенное на пятьдесят клеток — небесных сфер, для гаданий, восходящих к глубочайшей вавилоно-шумерийской древности\*. Точно такое же бронзовое изваяние найдено и в этрусском городе, нынешней Пиаченце<sup>15\*\*</sup>. Печень, а не сердце, по вавилонскому учению, есть средоточие жизни в теле человека и животного: вот почему обе астрологические печени, этруская и вавилонская, изображают планисферу звездного неба, внутреннего, живого — животного, дымящегося кровью, как ночное небо дымитися звездными дымами. В теле кровяные шарики — то же, что бесчисленные солнца в небе\*\*\*. В небе и в теле совершается

круговращение великих колес (небесных сфер),  
движущих каждое семя к цели его,  
по воле сопутственных звезд\*\*\*\*,

скажет «звездочет» Данте, как могли бы сказать Аронт и Вергилий. «Данте был звездочетом-астрологом», — сообщает Боккачио в истолкованиях «Комедии»\*\*\*\*\*.

Так как в те времена астрология, как и все вообще «отреченные» Церковью «тайные знания», смешивалась с магией, то Данте — «астролог», значит «маг». Тот же Боккачио называет и Вергилия «знаменитейшим звездочетом-астрологом», сообщая народные легенды о «волшебствах» Вергилия<sup>6\*</sup>.

Как ни грубо и ни глупо ошибался миланский герцог, Галеаццо Висконти, желая пригласить к себе Данте, чтобы извести «колдовством» врага своего, папу Иоанна XXII, — что-то верно угадал он в Данте. И те веронские женщины, что в суеверном страхе шепчутся за спиною у проходящего Данте о данной ему сверхъестественной власти сходить заживо в ад, что-то верно угадывают

\* *P. Dhorme. La religion assyro-babylonienne* (1910), p. 294.

\*\* *A. Jeremias. Handbuch der altorient[alischen] Geisteskultur* (1913), p. 145.

\*\*\* *Д. Мережковский. «Тайна Трех».*

\*\*\*\* *Purg. XXX, 109.*

\*\*\*\*\* *Boccaccio. Comm. (Solerti, p. 72).*

<sup>6\*</sup> *F. D'Ovidio. Studi danteschi* (1926), p. 361.

в нем. Кем дана ему эта власть, — Богом или дьяволом, — не знают они; помнят только о его сошествии в ад, а о восшествии в рай забыли; так же, как Галеаццо Висконти, помнят только убивающую живых, «черную магию», а «белую», воскрешающую мертвых, — забыли.

Слыть в народе «колдуном» было, в те времена, не безопасно. Если дымом костра пахнет от Данте, живого и мертвого, так что кости его едва не будут вырыты из земли и сожжены, то, может быть, не только потому, что он слывет «колдуном», но и потому, что «колдовское», «магическое» в нем действительно есть.

Два великих тосканца, этруска — Данте и Леонардо да Винчи, — подняли на плечах своих, как два Атланта, всю тяжесть будущего мира; Данте поднял ее ко Христу, а Леонардо, предтеча Гете-Фауста, неизвестно к кому — ко Христу или к Антихристу<sup>16</sup>.

Бритое, голое, тонкое, с выдающейся вперед нижней челюстью, под странным, точно женским, головным убором тех дней, красным колпаком с двумя по бокам полотняными белыми лопастями, будто старушечье, лицо Данте напоминает этрусскую волшебницу Манто; а лицо Леонардо, в старости, с волнистой, длинной, седой бородой, с щетинисто-нависшими, седыми бровями над темными впадинами страшных или жалких, нечеловеческою мыслью отягченных глаз и с такою же, как у Данте, горькой складкой крепко сомкнутых, как будто навеки замолчавших, губ, — напоминает не этрусского, а более древнего, пещерного волхва, — того, кто зажег в Ледниковой ночи первый огонь, как титан Прометей.

«В теле или вне тела» был Данте «восхищен на небо» — этого он сам не знает, так же, как ап. Павел (II Кор. 12, 2–3), а Леонардо, изобретая человеческие крылья, чтобы лететь, как Симон Волхв летал, и полетит Антихрист, знает, что человек будет «восхищен на небо, в теле».

В стенописях этрусских могил как будто уже предвосхищены картины Дантова «Ада»\*, где Минос, Герион и Гарпии — этрусские чудовищные демоны<sup>17</sup>. И неземные страшилища винчьевских карикатур так родственны видениям этих двух адов, этрусского и Дантова, как будто и те и другие вышли из одного и того же безумного и вещего бреда. И в таинственной улыбке Леонардовой Девы Скал, пещерной Богоматери (чья, может быть, родная

---

\* *Papini*, p. 26.

сестра — маленькая Брассенпуйская пещерная Изиды) — та же неземная прелесть, как в улыбке маленьких бронзовых этрусских богинь Земли-Матери<sup>18</sup>, найденных на склонах той самой горы Фьезоле, где родилась Беатриче и где от ног ее запечатлелись, столько раз мысленно целованные Данте, легкие следы\*.

Той же улыбки неземную прелесть увидит он в Раю, на губах Беатриче:

...древней сетью  
Влекла меня к себе ее улыбки  
Святая прелесть\*\*.

Так, кто была на земле Возлюбленной Данте, будет на небе Матерью:

...Я обратился к той,  
Которая вела меня... и так  
Как мать к сыну, бледному от страха,  
Спешит, она ко мне на помощь поспешила\*\*\*.

Что на земле начала Беатриче, кончит на небе Дева Мария.

О, Дева Мать, дочь Сына своего.  
Всей твари высшая в своем смиренье\*\*\*\* —

эта молитва св. Бернарда Клервоского есть молитва и грешного Данте.

Только исполнив ветхий и новый, вечный завет Вергилия, а может быть, и всего дохристианского человечества:

*Матери древней ищите*<sup>19</sup>,  
Antiquam exquirite Matrem, —

Данте найдет Третий Завет Духа-Матери — единственный путь к Воскресению.

\* *I. del Lungo. Beatrice* (1891), p. 3.

\*\* *Purg.* XXXII, 4.

\*\*\* *Par.* XXII, 1.

\*\*\*\* *Par.* XXXIII, 1.

## III

## ДАНТЕ-МАГ

«Я ничего не сделал и не сделаю» — вот вечный страх и мука таких людей, как Данте, или, вернее, такого человека, потому что не было другого подобного ему за два тысячелетия христианства, и едва ли скоро будет в «поэзии-делании». Данте не мог не сознавать или, по крайней мере, не чувствовать иногда, что в главной воле его — к соединению двух миров, того и этого, в одном третьем, все действующие в мире силы — Церковь, государство, искусство, наука, философия, — все, что мы называем культурой, — идут если не против него, то не с ним; потому что весь мир движется не к соединению двух миров, а к их разделению, под знаком не Трех — Отца, Сына и Духа, а Двух: Отца против Сына или Сына против Отца; Бога против человека или человека против Бога; плоти против духа или духа против плоти; земли против неба или неба против земли — и так без конца, в ряде вечных противоборств — противоречий неразрешимых. Данте, один из сильнейших людей, не мог не сознавать, или, по крайней мере, не чувствовать иногда, как страшно бессилен и он, потому что страшно одинок. Главная воля его к Трех вместо Двух, не находя точки опоры ни в чем внешнем и действительном, изнемогала в пустоте, в бездействии или в самоубийственных бореньях внутренних.

Слишком понятно, что в такие минуты или часы, дни, месяцы, годы сомнений, неимоверная, им поставленная себе в «Комедии» цель — «вывести человека из состояния несчастного», — Ада земного, и «привести его к состоянию блаженному», «земному Раю» — казалась ему самому почти «безумною»:

Кто я такой... и кем на подвиг избран?  
Ни сам себя я не считаю,  
И не сочтет меня никто достойным:  
Вот почему страшусь,  
Чтобы мое желанье вознестись  
К таким высотам не было безумным\*.

---

\* *Inf.* II, 31.

Кажется, этого возможного «безумья» он страшится не только в самом начале пути к «Раю земному» — Царству Божию на земле, как на небе, но и в самом конце: иначе не замуровал бы в стену, накануне смерти, тринадцать последних, высших песен Рая. Самое для него страшное, может быть, то, что в этом «безумном желании» он иногда сознает или, по крайней мере, чувствует себя не «грешным», а иначе святым, по-новому, — не так, как были святы до него, за десять-одиннадцать веков христианства, после двух-трех первых, все святы; чувствует себя, в какой-то одной, не достигнутой им и, может быть, для него недостижимой точке, противосвятым, *antisancus*.

Очень вероятно, что бывали такие минуты, когда он готов был поверить тому, что следовало из ошибочных, в уровень тогдашнего знания, но для него соблазнительно точных, астрологических и богословских выкладок, а именно тому, что первое всемирно-историческое движение к Царству Божию — «поворот всех кораблей носами туда, куда сейчас кормы их повернуты», — совершится не ранее, как через семь тысячелетий — т. е. через столько веков, сколько отделяет конец каменного века от Р. Х.\* Судя по этому, Данте — меньше всего отвлеченный мыслитель и мечтатель из тех, кого мы называем «идеалистами»: он «видит все», *tutto veda*, по глубокому слову Саккетти; он знает, с кем борется; чувствует действительную меру того, что хочет сделать: раздавливающий вес поднимаемых им тяжестей.

Так бесконечно трудна цель его — борьба за христианство будущее — потому, что и бывшее уже изнемогает в мире, именно в эти дни: между смертью св. Франциска Ассизского и рождением Данте уже начинается то, что мы называем «Возрождением» и что, может быть, вернее было бы назвать «вырождением» христианского человечества; тогда уже совершается «великий отказ», *il gran rifiuto\*\**, отступление от Христа, единственного двух миров Соединителя:

Ибо Он есть мир наш, соделавший из двух одно, *poiêsas ta amphotera hen* (Еф. 2, 14).

---

\* *Par.* XXVII, 139. — *C. A. Fabricetti. Spunti ed appunti su Dante Vivo di G. Papini* (1933), p. 29.

\*\* *Inf.* III, 60.

Хуже всего, что в главной воле своей к соединению Двух в Одним, Третьем, Данте должен был бороться не только со всем миром, но и с самим собою, потому что находил иногда и в себе не соединение, а «разделение» двух миров: «было в душе моей разделение», *la divisione ch'è ne la mia anima\**; потому что и он уже родился, жил и умер под знаком двух «Близнецов» — Веры и Знания.

Ах, две души живут в моей груди!<sup>20</sup> —

мог уже и он сказать.

Главная цель его — «вывести человека из состояния несчастного и привести его к состоянию блаженному, еще в этой жизни земной», — была так бесконечно трудна еще и потому, что самое трудное в религиозном действии — дать людям почувствовать, что ответом на вопрос, ждет ли их что-то за гробом, или не ждет ничего, — решается все, не только во внутренней духовной жизни их: ложь или истина, зло или добро; но и в жизни внешней, физической: болезнь или здоровье, голод или сытость, война или мир. Людям кажется, что от судеб их в вечности ничто не зависит во времени, как от цвета облаков. Но пахарь, готовящий жатву, знает, что светлым или темным цветом облаков предвещается дождь или засуха, — хлеб или голод, жизнь или смерть, не только для него одного, но и для множества людей.

Эту зависимость временного от вечного, всего, что здесь, на земле, сейчас, от того, что некогда будет в вечности, лучше Данте никто не чувствовал, и никто не сделал больше, чем он, чтобы дать это почувствовать людям.

«Нет у человека преимущества перед скотом, потому что... все идет в одно место: вышло из праха и в прах отойдет» (Еккл. 3, 19–20). Если и Тот, кого весь мир не стоит, в прах отошел, то цену жизни понял лучше всего мудрейший из сынов человеческих, Екклезиаст: «мертвые блаженнее живых, а еще блаженнее тот, кто никогда не жил и не видел злых дел, какие делаются под солнцем» (Еккл. 4, 3).

Понял цену жизни и Мефистофель:

Какая людям польза бесконечно  
Творить и разрушать? Что значит «было»?

---

\* *Conv.* II, 6.

Все бывшее не-сущему равно;  
Но кружится все так, как будто есть.  
Вот почему жить в вечной пустоте  
Я предпочел\*.

Завтра начнется вторая всемирная война, в которой накопленные человечеством, за десять тысячелетий так называемой «культуры», «цивилизации», сокровища погибнут бессмысленно, — и отвечать будет некому, жалеть — не о чем, потому что все они — только бывший и будущий прах.

Но если Христос воскрес, то иное солнце, иное сердце, иная жизнь, иная смерть. Вместо вечной войны — вечный мир, в котором люди сделают наконец первый шаг к Царству Божию на земле, как на небе.

Если все человечество, как думает Бергсон и думал Данте, есть «движущееся рядом с каждым из нас, и впереди, и позади каждого, великое воинство в стремительном натиске, способном сокрушить все, что стоит на его пути, и опрокинуть многие преграды — может быть, даже смерть», — то пасть духом — значит, для этого воинства, быть пораженным, а не пасть — значит победить. с Дантовых дней началось и до наших дней продолжается падение в человечестве духа. Лучше Данте этого никто не видел и больше, чем он, никто не сделал для того, чтобы павший в человечестве дух восстановить.

Лучше Данте никто не знает, что живым нельзя спастись одним — можно только вместе с умершими — воскресшими, потому что одна круговая порука соединяет мертвых и живых в борьбе с «последним врагом» — Смертью. Если для нас и все живые мертвы, то для Данте и все мертвые живы. Жалкий пистойский воришка, ограбивший церковь, Ванни Фуччи\*\*, и флорентийский фальшивомонетчик, маэстро Адамо\*\*\*, так же для него бессмертны, потому что лично-единственны и неповторимы в вечности, как Беатриче и св. Бернард Клервоский. В людях презреннейших, осуждая их на муки ада, утверждает он человеческое достоинство больше, чем мы — в Сократе и Цезаре, думая, что в смерти нет у них преимущества перед животными, — «все идут в одно место».

---

\* [Goethe. Faust. II, Grosser Vorhof des Palastes. (Гете. Фауст, 11598–11604).]

\*\* Inf. XXV, 125.

\*\*\* Inf. XXX, 61.

После двух-трех первых веков христианства весь религиозный опыт святости есть движение от земли к небу, от этого мира к тому. Данте предчувствует новую святость в обратном движении — от неба к земле. Только земную любовь к небу знают святые, а религиозный опыт всего дохристианского человечества — небесная любовь к земле — в христианстве забыт. Данте первый вспомнил эту любовь.

Две души у человека — два сознания: бодрствующее, дневное, поверхностное и ночное, спящее, глубокое. Первое движется, по закону тождества, в логике, в чувственном опыте, и, доведенное до крайности, дает всему строению жизни тот мертвый, «механический» облик, который нам так хорошо знаком; второе — движется в прозрениях, ясновидениях сверхчувственного опыта и дает всей жизни облик живой, органический, или, как сказали бы древние, — «магический». Чтобы объяснить, или хотя бы только напомнить, что это значит, можно бы указать на такое слабое и грубое подобие, как животное чутье, «инстинкт». Ласточки знают, куда нужно лететь, чтобы попасть в прошлогоднее гнездо, за две тысячи верст; знают муравьи, где надо строить муравейник на берегу реки, чтобы не залило его водой половодья. Знание это, не менее достоверное, чем то, которое мы приобретаем путем силлогизмов и чувственных опытов, кажется нам «чудесным», «магическим». Плохо было бы муравьям, если бы, потеряв животный инстинкт, они построили кочку на берегу реки слишком низко; плохо было бы ласточке, если бы, в полете над морем, она забыла, куда надо лететь, чтобы достигнуть берега: так же плохо и нынешнему человечеству, забывшему, где надо ему строить свой вечный дом, и куда лететь, чтобы достигнуть вечного берега.

Жив человек лишь «чувством прикосновения своего таинственным мирам иным» (Достоевский)<sup>21</sup>; если же чувство это гложет в нем, — он умирает той «второю смертью», от которой нет воскресения.

«Магия» сверхчувственного опыта, в наши дни, всюду убита «механикой», «ночная душа» — «дневной»; только в искусстве она все еще жива; творчество художника все еще движется не по лестнице умственных доводов и чувственных опытов, а внезапно, как бы «чудесными», взлетами, так что в этой «чудесности» гения и заключается его особенность, несоизмеримость с нашей обыденной «механикой». — «Есть ли магия?» — на этот вопрос все еще искусство отвечает: «есть». Все еще души человеческие

укрощаются искусством, как дикие звери — Орфеевой музыкой. Даже пауки слушают музыку; даже Ленин что-то любил, или хотел бы любить, в Пушкине.

Данте — новый маг, Орфей: так же укрощает и он души человеческие — хищных зверей — музыкой; так же сходит в ад за Евридикой — душой человека и человечества.

Веточка мимозы найдена на сердце усопшего, в гранитном саркофаге Аменофиса II: нежные листики-перышки «не-тронь-меня» должны были ответить трепетом на трепет воскресающего сердца. Вот что такое вечная, действительная Магия-Религия: одоление закона естества — смерти — иным законом высшим, сверхъестественным, — любовью, воскрешающей мертвых.

Но чтобы это понять, надо больше чем верить, — надо испытать на себе то, о чем говорит единственный на земле Человек, победивший смерть:

Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, — оживет; и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Верешь ли сему? (Ин. 11, 25–26).

Только ответом на этот вопрос решается все здесь, на земле, сейчас, так же, как решится некогда в вечности.

Древнеегипетское слово *sepench* имеет два смысла: «ваятель», «художник» и «оживитель», «воскреситель мертвых». Данте в этом смысле величайший художник за две тысячи лет христианства. Творчество Гете и Шекспира — только искусство; творчество Данте больше чем искусство, и даже больше чем жизнь, это источник жизни — религия. Дантово искусство величайшее, потому что религиознейшее из всех искусств.

Что сделал Данте в Святой Поэме? Подошел так, как никто из художников слова — к вечному делу религии — воскресению мертвых.

#### IV

#### ЧЕТЫРЕ МАГИИ

Данте в Святой Поэме соединяет и устремляет к одной цели — воскресению мертвых — четыре искусства, четыре магии. Первая, более вещественная, осязаемая, — ваяние, — в «Аду»; вторая, более духовная, зримая, — живопись, — в «Чистилище»; третья,

самая духовная, слышимая, — музыка, — в «Рая»; и наконец, четвертая, включающая в себя все три остальные, — магия зодчества, — во всей «Комедии».

В древнем египетском зодчестве — такое величие и такая простота, как только в созданиях природы. Почти невероятно, что замысел, подобный пирамиде Хеопса<sup>22</sup>, мог быть исполнен\*.

«Это сон исполинского величия, осуществленный только раз на земле, неповторяемый»\*\*. В усыпальнице Хеопса, несмотря на тысячелетия и на землетрясения, колебавшие громаду пирамиды, ни один камень ни на волосок не сдвинулся. Тысячепудовые глыбы гранита сплочены так, что нельзя между ними просунуть иголку, и отполированные до зеркальной гладкости грани их подобны граням совершенного кристалла. Это самое вечное из всего, что создано людьми на земле. Можно бы сказать почти то же и о Дантовом зодчестве в «Комедии».

«Мудрому свойственно упорядочивать все. *Sapientis est ordinare*» — это в высшей степени римское слово св. Фомы Аквината объясняет многое в Данте\*\*\*. Та же воля к порядку у Юлия Цезаря — в строении государства, у Фомы Аквинского — в строении Церкви, и у Данте в зодчестве загробного мира.

Десять — число для Данте совершенное — умноженный символ Трех в Одном: трижды Три и Один — Десять. Вот почему строение трех загробных миров — Ада, Чистилища, Рая — десятикратно: десять воронкообразно-нисходящих кругов Ада; десять восходящих уступов Чистилища; десять вращающихся звездных сфер — «колес» Рая. Вот почему и всех песен «Комедии» десятеродесять — сто; в первой части — тридцать три и одна, а в двух остальных — тридцать три ровно. И каждая песнь состоит из трехстиший, в которых повторяется одно созвучие трижды.

Людам, не посвященным в «магию» чисел, кажется математика чем-то для всех очарований убийственным, анتماгическим. Но св. Августин знает, что «красота пленяет числом», *pulchra numero placent* (*De ordine*), «пленяет» — «чародействует»; тайная магия Числа в красоте становится явной. Так же, как маг Орфей — Пифагор, геометр, считает и поет, считает и молится, потому что в числах — не только земная, но и небесная музыка — «музыка

---

\* *Eduard Meyer.*

\*\* *A. Moret.*

\*\*\* *Thomas Aquinas*, *Eth[ica]* I, 1.

сфер». «Страшный бог Любви» для Данте — величайший Маг и Геометр вместе: «Я — как бы центр круга, находящийся в равном расстоянии от всех точек окружности, а ты — не так».

Камни складываются в зодчестве по тем же числовым законам, как звуки — в музыке. Зодчество — воплощенная музыка, а музыка — одухотворенное зодчество.

Вместе с математикой Данте вводит в «Комедию» весь круг тогдашних знаний: механику, физику, астрономию, этику, политику, историю, и устремляет их все к одной цели — к воскрешению мертвых.

«Истинное величие являет человек не в одной из двух противоположных крайностей, а в их соединении и в наполнении того, что между ними», — учит Паскаль\*. Данте и в этом, как в стольких других особенностях гения, совпадает с Гете: оба они соединяют «две противоположные крайности» — математическую точность познания с пророческим ясновидением. Но Данте в этом шире, чем Гете. Гете соединяет их только в созерцании, а Данте в созерцании так же, как в действии.

Свет разума, исполненный любви.  
Luce intellettual, piena d'amore\*\*.

Необходимость, механика, — в разуме; магия, чудо, — в любви. Магия зодчества для самого Данте, строителя «Комедии», есть первая, а для читателя — последняя из четырех на него действующих магий; первая для него — магия ваяния. Та с наибольшей силою действует в общем строении «Комедии», а эта — в аду.

Цвет Ада единственный — «красный», от раскаленных докрасна железных стен и башен подземного города, Дита, или точнее — темно-, почти черно-красный, как запекшаяся кровь.

О милая, родная нам душа,  
Прошедшая сквозь этот красный воздух,  
Чтоб посетить нас, обогривших землю кровью!\*\*\*

---

\* *Pascal. Penseés.*

\*\* *Par. XXX, 40.*

\*\*\* *Inf. V, 88.*

«Черно-красный», персовый цвет, *perso*, есть смешение черного с красным, но с преобладанием черного\*.

Черным по красному писаны все картины Дантова Ада так же, как все рисунки этрусских глин<sup>23</sup>. Здесь опять духовно-физическое родство Данте с Этрурией.

Облики бесов и грешников на кроваво-красном зареве Ада, как из черного камня изваяны.

Ангел, посланный с неба, похожий на крылатого этрусского бога, пролитая сквозь «жирный воздух» ада, «отстраняет его от лица, — махая часто левою рукой»\*\*. Этим одним движением здесь выражено то, что делает призрачное в сновидениях вещественным. Зрительное ощущение усиливается и сгущается так, что становится осязательным: дымную черную тьму, остаток Ада в Чистилище, Данте осязает на лице своем, как «шершавый мех»\*\*\*.

Бес христианского ада, кентавр Хирон<sup>24</sup>, как будто вышедший тоже из ада этрусского, вглядывается с удивлением в Данте, живого среди мертвых.

И взяв стрелу, концом ее пернатым  
С огромной пасти он откинул ус  
И так сказал товарищам: «Смотрите,  
Как движет все, к чему ни прикоснется,  
Тот, позади идущий; ноги мертвых  
Не делают того»\*\*\*\*.

Мысль отвлеченнейшая — отличие того мира от этого — здесь не мыслится, а чувствуется осязательно; метафизика становится механикой, призрачное в Аду делается вещественным; и даже, по закону сновидений, так что чем призрачней, тем вещественней.

Графа Уголино, гложущего череп врага своего, архиепископа Руджиеро, Данте спрашивает, зачем он это делает.

Тогда, подняв уста от страшной пищи,  
Он вытер их о волосы затылка

---

\* *Conv.* 1, 20.

\*\* *Inf.* IX, 82.

\*\*\* *Purg.* XVI, 6.

\*\*\*\* *Inf.* XII, 77.

Изглоданного...  
И начал так...\*

В этом одном внешнем движении: «вытер уста», — сосредоточен весь внутренний ужас Уголиновой трагедии так, что он остается в душе неизгладимо, как воспоминание бреда.

Знали древние египтяне, знали этруски, — знает и Данте, что тот мир не страшно далек, как это кажется нам, а страшно близок, — вот здесь, сейчас, рядом с нами — в нас самих. В символах-знаменьях, соединяющих два мира, как перекинутые между ними мосты, — самое близкое, простое, земное, здешнее, прикасается к самому дальнему, неземному, нездешнему: «Все, что у вас, есть и у нас»; там все, как здесь, и совсем, совсем иначе, но так же несомненно-действительно или еще действительней. Это в обеих магиях — ваяния и живописи — одинаково; в Аду, в Чистилище и даже в Раю, но в Аду больше всего, потому что здешний мир всего подобнее Аду.

В третьем круге Ада ростовщики, под огненным дождем, закрывают лица руками, то от горячего дыма, то от раскаленной земли, —

Как это делают собаки летом,  
И лапами и мордой защищаясь  
От блох кусающих, и мух, и оводов\*\*.

Тени в Аду, завидев Ангела, прыгают в воду Стикса, как лягушки в лужу, завидев змею\*\*\*.

Тени в Чистилище, встречаясь, целуются радостно и быстро, на ходу, как это делают муравьи, прикасаясь усиками к усикам, «быть может, для того, чтоб рассказать, куда идут и с чем»\*\*\*\*.

Души блаженных в Раю летают и кружатся, как вороны, в начале дня, когда бьют крыльями, чтоб от ночного холода согреться, и, улетев, одни не возвращаются, а другие, вернувшись, кружатся, все на одном и том же месте\*\*\*\*\*.

---

\* *Inf.* XXXIII, 1.

\*\* *Inf.* XVII, 48.

\*\*\* *Inf.* IX, 76.

\*\*\*\* *Purg.* XXVI, 34.

\*\*\*\*\* *Par.* XXI, 34.

Так смиреннейшая тварь — псы, лягушки, муравьи, вороны — вовлекается Данте в величайшее, богочеловеческое дело — воскрешение мертвых. Если оно произойдет действительно, мертвое будет оживать целыми слоями, пластами вещества, — звездным, растительным, животным: вот почему только такая бесконечная, в глубину вещества идущая, как у Данте, любовь ко всей земной твари может, побеждая силу смерти, воскресить всю тварь в Царстве Божьем на земле, как на небе.

В то же дело воскрешения вовлекает Данте, вместе с животными, и людей смиреннейших. Тени, безмолвно проходящие в аду, вглядываются в Данте и Вергилия так, «как вечером, под новою луною, встречающиеся на дороге прохожие вглядываются друг в друга; и все они, прищурившись, острят свой взор», —

Как в лавке старый делает портной,  
В ушко иголки продевая нитку\*.

В то же дело воскрешения вовлекает Данте и неодушевленные предметы, смиреннейшие. В небе Юпитера, где созерцают лицо Неизреченного высшие духи, один из них вертится, как ударяемый бичом играющего ребенка волчок:

И было для него бичом блаженство\*\*.

Чувство неземного нездешнего не ослабляется, а усиливается земною четкостью, наглядностью образов. Более земных, родных, простых и убедительных образов нет нигде, кроме Евангельских притч.

Что, казалось бы, может быть общего между свиным хлевом и загробною вечностью? А вот, оказывается, есть.

Где-то в одном из самых темных и смрадных углов ада, —

Две тени, голые и бледные, кусаясь,  
Так друг за другом бегали, как свиньи,  
Когда внезапно открывают хлев\*\*\*.

---

\* *Inf.* XV, 21.

\*\* *Par.* XVIII, 42.

\*\*\* *Inf.* XXX, 25.

Здесь еще, в аду земном, люди грызутся злее диких зверей; так же будут грызться и там, в аду подземном, в вечности. Страшен львиный гнев, страшна лютость волчья; но насколько страшнее дьявольски-человеческая злость этих двух, друг за другом бегающих с пронзительным, поросячьим визгом кусающихся, «голых и бледных теней»! Данте недаром вспоминает, по поводу этой свиной грызни, о великих всемирно-исторических войнах. Хлев откроют — объявят войну, и два великих народа, кинувшись друг на друга, будут грызться, как две выпущенные из хлева свиньи.

Тот, кто понял, как следует, это Дантово, два мира соединяющее знамение-символ, сколько раз, думая о земных делах, вспомнит ужас его неземной!

«Огненная змейка жалит мучимого грешника туда, откуда берется наша первая пища», — в пупок и, упав к ногам человека, лежит на земле, простертая. Пристально смотрит на нее ужаленный и молчит — «только зевает, как в лихорадочном ознобе или дремоте». Смотрит человек на змею, а змея — на человека. Пасть у нее дымится дымком зеленоватым, а у него — рана. Эти два дыма смешиваются, и двойное чудо совершается в них: превращение змеи в человека, и человека — в змею. Самое страшное здесь то, что это им обоим, хотя и по-разному, но одинаково нравится: хочет животное быть человеком — восстать из праха, возвыситься, а человек хочет быть животным — пасть во прах, унизиться. «Два естества их друг друга соответствуют так, что змея разделяет хвост на две ноги, а человек соединяет их в змеиный хвост». И каждое дальнейшее, согласное, совпадающее, «соответственное» изменение этих двух постепенно, как будто необходимо-естественно, превращающихся тел (в этой-то естественной необходимости главный ужас) изображено с такою живостью, как бы внутреннего, в этих двух телах переживаемого опыта, что нам, точно уже не читающим о том, а видящим — осязающим то, что в них происходит, начинает казаться, что и с нашим собственным телом может произойти или где-то, когда-то происходило нечто подобное. Мы начинаем вдруг чувствовать в нашем собственном теле жалкую, как бы зародышевую, бескостность, мягкость, лепкость — страшно-уступчивую, на все формы готовую глину в руках ваятеля\*.

---

\* *Inf.* XXV, 79[–93].

Скажет ли изделие сделавшему его: зачем ты меня сделал таким? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для употребления почетного, а другой — для низкого (Рим. 9, 20–21), — зверя изваять, или Ангела?

Так и в этом символе двух превращающихся тел земная действительность просвечивает сквозь неземную, механика — сквозь магию.

То, что можно бы назвать волею к ужасу, у Данте идет из тех же первозданных глубин существа его, как у св. Августина: «Я ужасую других, потому что сам ужасаюсь, *territus terreo*»\*.

Если человек уже и здесь, на земле, кажется самому себе, по страшному слову Паскаля, «непонятым чудовищем», то тем более он может оказаться им в вечности\*\*.

«Мертвых душ» певцы — оба, Данте и Гоголь. Мог бы и тот сказать людям, как этот: «Замирает от ужаса душа моя при одном только предслышании загробного величия тех духовных высших творений Бога, пред которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь, весь умирающий состав мой, чужа исполинские возростания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая, какие страшилища от них подымутся»\*\*\*.

Таковы две воскрешающие Дантовы магии — ваяния и живописи. Обе действуют во всей «Комедии», но первая — с наибольшей силою в «Аду», а вторая — в «Чистилище».

Только что Данте выходит из Ада, как очи и сердце ему услаждает разлитый по небу «нежнейший цвет восточного сапфира»\*\*\*\*. Не только видит он его глазами, но и всем телом чувствует; эту синеву чистейшую пьет, как умирающий от жажды — студеную воду. Радуге лучей, которыми утренняя звезда переливается на розовом небе, как исполинский алмаз, и радуге цветов, на изумрудно-зеленеющих лугах у подножия Святой горы Очищения, радуется, как только что прозревший слепой.

Если у живописи два начала — рисунок и краска, то первое начало — во всей «Комедии», а второе — в «Чистилище». Кажется, именно здесь родилась вся живопись итальянско-

---

\* *Augustin. Sermo 40.*

\*\* *Pascal. Penseés, 420.*

\*\*\* «Избр. места из переписки с друзьями».

\*\*\*\* *Purg. I, 13.*

го Возрождения, от опаловых, утренних сумерек Джиотто до янтарных, вечерних, — Джиорджоне.

Первая магия ваяния действует с наибольшею силою в «Аду»; вторая — живописи — в «Чистилище»; третья — музыки — в «Раю».

«В юности Данте больше всего услаждался музыкой, и всем лучшим певцам и музыкантам тех дней был другом», — вспоминает Боккачио\*.

Может быть, в самом раннем детстве, еще до встречи с восьмилетней Биче Портинари, вслушиваясь в звуки флорентийских колоколов, Данте уже предчувствовал то, из чего родится его любовь и такая песнь любви, какой никогда еще не слышал мир, — Святая Поэма.

Как в башенных часах, зовущих нас к молитве,  
В час утренний, когда невеста Божья  
Возлюбленного Жениха встречает, —  
Вращаются колеса, и звенят  
Колокола столь сладостно: «динь-динь»,  
Что сердце от любви, в блаженстве, тает, —  
Так звездные колеса надо мной  
С такой сладчайшей музыкой вращались,  
Что можно б выразить ее лишь там,  
Где радость наша делается вечной\*\*.

Главная, «магическая», воскрешающая сила древнеегипетских жрецов-заклинателей есть «верный голос», *makronon*. Та же сила у Данте: в самом порядке и звуке слов его заключена тайная магия: стоит переставить только одно слово или даже один слог, чтобы «верный голос» сделался неверным, и все очарование рассеялось, исчезла вся магия музыки\*\*\*.

Прекрасное созданье к нам летело,  
В одеждах белых и с таким лицом  
Как трепетанье утренней звезды.  
*Par tremolando mattutina stella\*\*\*\*.*

\* *Boccaccio. Vita* (Solerti, p. 37).

\*\* *Par. X*, 139.

\*\*\* *J. Symonds. Dante* (1891), p. 216.

\*\*\*\* *Purg. XII*, 88.

Звуки последнего стиха таковы, что вызывают видение перед глазами слушателя так же неодолимо, как чудесная сила «колдовского внушения».

«Слышал я от самого Данте, что часто, в стихах своих, заставлял он слова выражать не то, что они обыкновенно выражают у других поэтов», — вспоминает один из ранних истолкователей Данте\*; это значит: в старых словах он находил новую музыку.

В самой новизне, девственности итальянского «народного языка», *volgare*, у Данте есть уже магия музыки. В первых звуках молодого языка — такая же неповторимость, невозвратность, единственность, как в первых словах и ласках любви. Многое можно сказать только в первый и единственный раз на том языке, на котором это еще никогда не было и никогда уже не будет сказано.

В песне все зависит от поющего голоса, а в стихах — от лада и звука речи. Стих совершенный непереводам, неповторим на чужом языке, и чем совершенней, тем неповторимей. Дантов стих — предел совершенства: тут между звуком слова и смыслом такая же связь, как между телом и душою; вынуть душу из одного тела и заключить в другое — нельзя: так сказанного на одном языке нельзя сказать на другом.

Был час, когда паломника любви  
Волнует грустью колокол далекий,  
Как будто плачущий над смертью дня.  
*Che paia il giorno pianger che si more\*\*.*

Пусть каждый читающий переведет эти стихи на свой родной язык и сравнит мертвые звуки перевода с живыми звуками подлинника, чтобы понять, что значит «верный голос» заклинателя, и почувствовать магию Дантовой музыки, воскрешающую мертвых бесконечною силою той «Любви, что движет солнце и другие звезды».

В серафимоподобном, не видимом, но слышимом теле «Божественной комедии», «поющем, вопиющем и глаголящем», — в трюичных созвучиях терцин повторяется тысячекратно все одно и то же, воскрешающее мертвых, магически-заклинательное Три.

---

\* *Ottimo Commento* (1827) I, 183.

\*\* *Purg.* VIII, 4.

## V

## МЕХАНИКА ВЗРЫВОВ

«Молния Трех» — что это значит, понял бы лучше всех христиан, за последние семь веков, Данте. Если не прошлому и не настоящему, то будущему Данте ближе, чем кому-либо из христиан эти два слова, — одно, Гераклита: «Молния — кормчий всего»<sup>\*25</sup>; другое, Иисуса:

Будет Сын человеческий в день Свой, как молния (Лк. 17, 24).

Что такое молния? Искра, соединяющая два электрических полюса; разряд двух противоборствующих, в грозовой туче накопленных сил; между Двумя — Третье; в мире вещественном нечто соответственное тому, что происходит в мире духовном, — огненное явление Трех. Молнийное число есть Три, и лучшее знаменье-символ Трех есть молния.

В мире, в человеке и в Боге, «противоположно-согласное» по Гераклитовой мудрости<sup>\*\*26</sup>, или по Троичной алгебре Шеллинга: — А, полюс отрицательный, — Отец; + А, полюс положительный, Сын; А, соединяющая Отца и Сына молния, — Дух. Мир начинает Отец, продолжает Сын, кончает Дух.

«Будет Сын человеческий в день Свой, как молния», значит: Второе Пришествие, конец мира, будет молнией Трех.

Тот разряд полярно-противоположных сил, который в порядке вещественном — физике-химии — мы называем «взрывом», в порядке духовном — в политике — мы называем «революцией». Чувство «прерыва» или «взрыва», — внезапного, то страшного, то желанного, но всегда потрясающего перехода из прошлого мира в будущий испытывают, более или менее, все участники политических и социальных революций. Чувство это, доведенное до своего религиозного предела, совпадает с тем, что в религиозном опыте христианства переживается как Апокалипсис, конец всемирной истории. В этом смысле Данте, кажущийся на поверхности своей уходящим в прошлое, на самом деле весь уходит в будущее; весь

\* *Heraklit*, fr. 64.

\*\* *Heraklit*, fr. 8.

революционен, потому что весь апокалипсичен. Если он «несовременен» ни своему веку, ни нашему, то, может быть, не потому, что уже был, а потому, что еще не был и только будет.

«Мы находимся уже в конце времен» — это чувство конца всемирной истории — Апокалипсиса, у него первого, не в Церкви, а в миру, так живо, как, может быть, ни у кого\*.

«Геометрический дух» Паскаля — воля к порядку и строю, к геометрической точности и правильности:

Я был тому геометру подобен,  
Который ищет квадратуры круга, — \*\*

т. е. в последнем счете, воля к несвободе, к неподвижности, у Данте — только извне, а внутри — воля к движению, к освобождению, хотя бы ценою всех порядков и строев, т. е. в последнем счете, *воля к Революции*, в смысле религиозном<sup>27</sup>, более глубоком и окончательном, чем только политический и социальный смысл всех доныне бывших революций.

В этом именно, самом глубоком, религиозно-революционном существе своем, Данте — одно из величайших явлений человеческой воли, чем и определяется особенность, единственность его художественного творчества. Только одному из четырех великих, по силе творческой воли равных ему поэтов, Эсхилу — Данте подобен<sup>28</sup>, а трем остальным — Гомеру, Шекспиру и Гете — противоположен. Эти трое — созерцатели; Данте — деятель. Эти широки; Данте глубок. Эти «центробежны» — идут от себя к миру; Данте «центростремителен» — идет от мира к себе или к Богу. Весь Данте, *il Dante* (в том смысле, в каком люди XIV века называют этим именем «Божественную комедию»), Данте весь, в жизни и в творчестве, — одна прямая, в глубь, в человека, и в высь, в Бога, идущая линия; одна, в одну точку бьющая молния.

«Более *напряженного*, чем Данте, я не знаю ничего», — глубоко и верно понял Карлейль. Творчество Данте, так же, как и вся его жизнь, есть нечто, по степени напряженности, в самом деле, единственное в мире. Весь Данте, *il Dante*, — как слишком натянутая на луке, готовая лопнуть тетива; может быть, лук так натянут умирающим на поле битвы бойцом для того, чтобы пустить в сердце

---

\* *Conv.* II, 14.

\*\* *Par.* XXXIII, 133.

врага, с последним усилием, последнюю из колчана стрелу: этот враг — Смерть, а победа над ним — Воскресение.

Крайняя сжатость, сгущенность, сосредоточенность всего, что Данте думает и чувствует, — главная, и тоже единственная, ни с чем у других великих поэтов, кроме Эсхила, несравнимая сила Данте, — происходит от этой напряженности. Самые сильные слова у него — самые краткие, как будто невольно, из крепко сомкнутых уст срывающиеся, — такие, как этот упрек, обращенный к Беатриче земной:

Жалость убивает ваш смех\*.  
 ...Я смерть мою прощаю той,  
 Кто жалости ко мне не знала никогда\*\*;

и упрек, обращенный к Беатриче Небесной:

Мне боль такая растерзала душу,  
 Что я упал без чувств, и что со мною было,  
 Она одна лишь знает\*\*\*.

Или такие слова, как эти:

Ужели Ты, за нас распятый...  
 Святые очи отвратил от нас?\*\*\*\* —

этот вопль человечества к Сыну, как будто отвечающий воплю Сына к Отцу: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты меня оставил?»<sup>29</sup> (Мф. 27, 46).

Самые деятельные люди — самые молчаливые; меньше всех говорит тот, кто больше всех делает. Данте — один из самых молчаливых, потому что один из самых деятельных людей в мире. Как это ни странно, главная сила этого великого художника слова не в слове, а в молчании.

Внутренняя жизнь человека безгранична; слово ограничено: это чувствует Данте лучше других художников слова; лучше из всех чувствует, как относится то, что можно и надо сказать, к тому, о чем надо молчать. Чем глубже чувство, тем безмолвнее. Правда

---

\* V. N. XV.

\*\* *Rime* 67.

\*\*\* *Purg.* XXXI, 88.

\*\*\*\* *Purg.* VI, 118.

в чувстве, ложь в словах. Данте — самый молчаливый, потому что самый правдивый из всех говорящих художников. Так, как никто из них (может быть, опять кроме Эсхила), умеет он останавливаться там, где нужно; сдерживать самое неудержимое в себе, как всадник уздою сдерживает коня над пропастью:

...Узда искусства  
Не позволяет дальше мне идти\*.

Лучше Данте никто не исполнил мудрую заповедь древних мистерий «скрывать глубины»<sup>30</sup>, *kryptein ta bathea*.

Только о предпоследнем, главном для него, он говорит, а о последнем, главнейшем, молчит. В слове для него весь мир, а в молчании — Бог.

Творчество Данте взрывчато, потому что дух его революционен, а революция есть взрыв. Внутренний огонь для Данте горит не как лампада тихим и ровным пламенем, а внутренними вспышками, взрывами, как порох.

Данте, большой любитель всех точных знаний, мог бы согласиться с определением главного творческого метода своего, как *механики взрывов*. Лучше многих нынешних философов понял бы он, что значит бергсоновская «мистика механики»\*\*, потому что Бог для него есть «Первый Двигатель» небесных тел, «великих колес», *rote magne\*\*\**, и необходимость механики — законов движения, есть божественное чудо «любви, движущей солнце и другие звезды».

Только поняв эту «механику-мистику» взрывов, мы поймем главную особенность, единственность Дантова творчества.

Две геометрические точки — два слова, и между ними — молчание, на устах поэта, а в сердце читателя — взрыв; две грозовые тучи, а между ними — соединяющая молния. Главное искусство здесь заключается как бы в астрономической точности, верности этих двух слов, двух точек, между которыми находится взрывчатая область молчания, с пороховою миною, проложенной от сердца поэта — «делателя» — к сердцу читателя, с которым поэт хочет

---

\* *Purg.* XXXIII, 141.

\*\* *H. Bergson. Les deux sources* (1932), p. 334.

\*\*\* *Purg.* XXX, 109.

что-то сделать, а хочет он всегда одного — «взорвать», возмутить, опрокинуть, вознести на небо или низвергнуть в ад.

В этом астрономически точном искусстве Данте похож на того «старого портного», который «в темной лавке, в ушко иголки продевает нитку»; но здесь «нитка» — молния страсти в великом сердце поэта, а «ушко иголки» — малое и бесстрастное сердце читателя. Какая сила нужна, чтобы с такою точностью управлять молнией!

Может быть, все отдельные человеческие души уходят корнями своими, как растения в землю, в одну великую общую Душу человечества. Если так, то к ней-то и прокладывает путь Данте, как рудокоп к драгоценной руде; с нею-то он и говорит, ее-то и спрашивает в своих молчаниях, и она отвечает ему тоже молча, глухими, подземными гулами или огненными взрывами чувств, таких же простых, общих и вечных, как она сама.

Прелюбодейная жена, Франческа да Римини, вспоминает свою преступную в глазах людей и Богом осужденную, наказанную адом, но для нее самой, и здесь, в аду, все еще святую любовь к мужнину брату, Паоло Малатеста:

Любовь, что благородным сердцем рано  
Овладевает, — овладела им  
К недолговечной прелести моей,  
Так у меня похищенной жестоко,  
Что все еще о том мне вспомнить больно\*.

«К прелести моей» (в подлиннике сказано вернее, «верным голосом»: «к моему лицу прекрасному», *de la bella persona*, потому что для любящего все тело любимой так же лично, как лицо) — вот одна из двух геометрических точек, а другая: «все еще мне больно», *ancor m'offende*; и между этими двумя точками, двумя словами, — молчание — «взрыв»: молния того лезвия, которым застигший любовников муж пронзает вместе обоих. В смерти соединятся они так же, как в любви; были «два одною плотью» в мгновенном вихре страсти, и будут — в вечном вихре ада:

Те двое неразлучны в вечном вихре,  
И так легко-легко несутся в нем\*\*.

---

\* *Inf. V*, 100.

\*\* *Inf. V*, 74.

Если бы Шекспир или Гете написали трагедию о любви Франческа, то, может быть, сказанное там было бы слабее, чем умолчанное здесь. Душу человечества Данте спрашивает молча, и она отвечает ему, тоже молча, только символами-знаками, а если бы ответила словами, то, может быть, это были бы его же собственные слова:

Я узнаю любви древнейшей пламя\*.

Нарушив новую заповедь, человеческую, в браке, — нарушила ли Франческа, или исполнила заповедь Божию, древнейшую: «Да будут два одною плотью»?<sup>31</sup> На этот безмолвный вопрос Данте могла бы ответить Душа человечества так же, как ответил Сын человеческий:

Женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. (Ин. 8, 10–11)

Как потрясен сам Данте этим ответом, видно из последних стихов песни:

Меж тем, как говорил один из духов, —  
Другой, внимая молча, плакал так,  
Что я, от жалости лишившись чувств,  
Как тело мертвое, упал на землю\*\*.

Брачный закон человеческий Франческа нарушила, а монна Пия исполнила; но и эта, невинная, так же погибла, как та, виновная.

Знатный гражданин Сиены, мессер Нэлло дэлла Пьетра, сначала нежно любил жену свою, монну Пию, а потом, изменив ей для другой, заточил ее в замок среди лихорадочных болот Мареммы, где умирала она недостаточно скоро для мужа и его любовницы. Духу не имея убить ее сам, потому ли, что был трусом, или потому, что все еще помнил былую любовь свою, мессер Нэлло подкупил слугу для этого убийства, и тот, когда монна Пия стояла однажды

---

\* *Purg.* XXX, 48.

\*\* *Inf.* V, 139.

у открытого окна, подкравшись к ней сзади, схватил ее и выбросил на площадь замка с такой высоты, что она разбилась насмерть\*.

Встреченная Данте в преддверии Чистилища, тень ее молит жалобно:

Увы! Когда вернешься ты на землю  
И отдохнешь от долгого пути,  
То вспомни обо мне. Я — Пия;  
В Сиене родилась, убита я в Маремме, —  
Как, знает тот, кто камень драгоценный  
В знак верности, мне на руку надел\*\*.

Снова и здесь, все в той же «механике взрывов», — две точки — два слова: «убита» и «камень драгоценный», а между этими словами — вся умолчанная трагедия любви: между прозрачно голубизною сапфира на обручальном кольце — знаке, увы, обманувшей верности, и тусклою голубизною болотных туманов, — «черно-красная», *perso*, как воздух ада, на серых камнях замковой площади запекаясь кровью.

Кто может вместить, да вместит (Мф. 19, 12), — брачную заповедь Отца и Сына. «Кто может?» — на этот безмолвный вопрос, во всех трагедиях любви отвечает Душа человечества: «Я не могу», — с тем огненным взрывом — возмущением, восстанием, — «революцией пола», — который, может быть, некогда «поколеблет силы небесные» в душе человечества.

В каменных, раскаленных докрасна, зияющих гробах мучаются еретики и вольнодумцы, восставшие на Бога; в их числе Дантова «первого друга» отец, флорентинец Кавальканти. Услышав тосканскую речь Данте, «высунул он из гроба голову до подбородка и оглядывался» так, как будто надеялся увидеть с Данте еще кого-то другого; когда же увидел, что нет никого, — сказал ему, плача:

«Коль в эту мрачную темницу путь  
Тебе открыт певца высоким даром,  
То где ж мой сын? Зачем он не с тобой?»  
И я ему: «Не сам сюда пришел я,

\* *M. Barbi*. — Boll[ettino della] Soc[ietà] Dant[esca] Ital[iana] XXV, 60. — *C. Grabherr*. *La Divina Commedia* (1936), II, 64.

\*\* *Purg.* V, 130.

Но тот, кто ожидает там, —  
 Меня привел; а сын ваш, Гвидо,  
 Его, быть может, презирал».

В подлиннике: «имел презрение», *ebba a disdegno*.

Тогда, вскочив, он вскрикнул: «Как,  
 Его уж нет в живых, и сладостное солнце  
 Как ты сказал? „Имел“? Так значит,  
 Его очей потухших не ласкает?»  
 И видя, что замедлил я ответом,  
 Он навзничь пал во гроб и больше не вставал\*, —

как бы второю смертью умер.

Снова и здесь, все в той же «механике взрывов», две точки — два слова: «имел — упал», *ebbe — ricadde*: и между ними молчание — взрыв:

Великая меня смутила жалость\*\*.

Богом осужденных грешников жалеть — значит восставать на правосудие Божие: Данте это знает, и все-таки жалеет Франческу, Пию, Кавальканти, Фаринату, Уголино, отца невинных, в земном аду замученных детей; жалеет все «обиженные души»\*\*\*, — всех «мучеников» ада\*\*\*\*.

Злейший в мире человек не пожелает врагу своему злейшему вечных мук ада. А Бог пожелал? Если вечно будет грызть Уголино череп Руджиеро, «как жадный пес грызет обглоданную кость»\*\*\*\*\*; если муки ада вечны, то, в лучшем случае, Бог и дьявол — два равных в поединке бойца, а в худшем — дьявол сильнее Бога.

«Как оправдается человек перед Богом?» — это один вопрос Иова-Данте (Иов. 9, 2); но есть и другой, умолчанный Данте, произнесенный Иовом: как оправдается Бог перед человеком?

---

\* *Inf.* X, 58.

\*\* *Inf.* V, 72.

\*\*\* *Inf.* V, 109.

\*\*\*\* *Inf.* X, 2.

\*\*\*\*\* *Inf.* XXXIII, 77.

О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий — с близким своим. Вот я кричу: «обида», и никто не слушает; вопию, и нет суда. (Иов. 18, 21; 19, 7)

Или Бог, или ад; чтобы оправдать Бога, надо разрушить ад: вот к чему ведет вся Дантова «механика-мистика взрывов». Этого он сам не знает, и этого не хочет; но противиться этому не может так же, как все, одержимые Духом, не могут противиться тому, что с ними делает Дух. Самое глубокое в Данте есть воля к разряду полярно противоположных сил в мире, в человеке и в Боге, — к той молнии, соединяющей отца и сына в Духе, которой кончится мир: «Будет Сын человеческий в день Свой, как молния».

Тайное имя будущего Данте есть имя ближайшего к нему ученика господня, Иоанна: Боанергес, «Сын Грома», «Сын Молнии» (Мк. 3, 17).

Я все хотел постигнуть и не мог, —  
 Что значит Три...  
 Вдруг молнией был поражен мой ум, —  
 Я понял все...

Понял Данте, как никто из христиан за семь последних веков, что значит «молния Трех».

## VI ЕСТЬ ЛИ АД?

Ад есть — это для верующих, религиозно опытных, не слепых, а зрячих людей так же несомненно, как то, что есть безначальное Зло — диавол. Чтобы отрицать существование ада, нужно отвергнуть величайший и подлиннейший из всех религиозных опытов человечества, — тот, что записан в Евангелии.

Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его. (Мк. 25, 41)

И ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.

Будет «тьма кромешная», «где червь их не умирает, и огонь не угасает» (Мк. 9, 44), — эти таинственные слова в речах Иисуса повторяются, конечно, недаром так часто и грозно.

«Что есть ад?.. Страдание о том, что нельзя уже любить. Раз, в бесконечном бытии... дана была духовному существу, появле-

нием его на земле, способность сказать себе: „Я есмь и я люблю“. И что же? Отвергло оно... дар бесценный, не возлюбило... и осталось бесчувственным. Таковой, уже отошедший от земли, видит и лоно Авраамово... и рай созерцает, и к Господу восходить может, но именно тем-то и мучается, что ко Господу взойдет он, не любивший, соприкоснется с любившими, любовью их пренебрегший»\*. Этот религиозный опыт старца Зосимы, а может быть, и самого Достоевского, совпадает с опытом Дантова Ада. Можно совсем отвергнуть загробную жизнь, но приняв ее, нельзя не принять и того, что начатое здесь, во времени, продолжится в вечности. Если в жизни земной величайшее блаженство — любить, а потеря любви — страдание величайшее, то тем более, в жизни вечной, когда мы увидим начало всякой жизни — Любовь, уже лицом к лицу. Это и значит: кто любит, тот знает, что любовь есть блаженство величайшее — рай, а потеря любви — мука величайшая — ад.

Есть ад — это несомненно; но так же ли несомненно и то, что муки ада вечны? Слово «вечный», на арамейском языке Иисуса, не имеет того отвлеченно-метафизического смысла «бесконечного времени», как греческое слово *aîónion*, и слова того же смысла, на философском языке, от Аристотеля до Канта. «Вечность», «век», на языке Иисуса, так же подобны мигу, как бесконечно длительному времени: вечностью может казаться и миг для крайней меры мучений. Словом «вечный» определяется не количество времени, в которое делятся муки, а *качество* мук.

Сказываю тебе: не выйдешь оттуда (из темницы), пока не отдашь и последней полушки (Лк. 12, 59).

Значит, когда-нибудь отдано будет все, и кончится заключение в темнице ада.

Что же значит «вечность мук» в Евангелии?

Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего сего (Мф. 13, 40),

в конце «вечности земной» — «земного века», *tou aîónos*. «Плевелы» — «сыны Лукавого» — «мнимые», «не-сущие», — сгорят, как «солома на огне»; миг сгорания и будет для них «вечностью мук».

---

\* Достоевский. «Братья Карамазовы», VI, 3.

«Что такое ад?» — за этим вопросом встает для Данте-человека и всего человечества другой вопрос: «Что такое зло?» «Я искал мучительно, откуда зло, unde sit malum... и не было исхода», — говорит св. Августин о начале жизни своей и мог бы сказать о всей жизни\*. — «Бога моего не смея обвинять»\*\*. На вопрос: «Откуда зло?» — он не может и не хочет ответить: «от Бога», и в этом бесконечно прав, потому что во зле не оправданный Бог хуже несущего; людям лучше сказать: «Нет Бога», чем сказать: «Зло от Бога». Но не это ли именно и сказано в надписи на двери Дантова ада:

Создало меня Всемогущество Божие,  
Высшая Мудрость и Первая Любовь\*\*\*.

Изобретательница вечных мук для ею же созданных тварей, истязательница вечная, — «Первая Любовь»: может ли это быть? Очень вероятно, что если не в уме, то в сердце Данте подымался иногда этот вопрос.

Нет никакого сомнения, что Данте был или, по крайней мере, хотел быть правоверным католиком. Вечные муки ада суть догмат Церкви. «Малым будет число спасшихся, по сравнению с числом погибших»\*\*\*\*. — «Но если бы даже никто не спасся, то люди и тогда не могли бы обвинить Бога в несправедливости»\*\*\*\*\*. — «Бог справедлив даже тогда, когда человек не мог бы сделать без несправедливости того, что делает Бог»<sup>6\*</sup>. Сколько бы этих страшных слов Августина ни повторял Данте в уме, — в сердце его незаглушим вопрос: «Откуда зло? как оправдать создание мира, лежащего во зле, не допустив одного из двух: или Бог всемогущ, но не всеблаг; или всеблаг, но не всемогущ?»

Правда «Божественной комедии» не в том, как Данте отвечает на вопрос: «Что такое Зло?», а в том, как он об этом спрашивает. «Божественная комедия» есть ответ на человеческую трагедию не потому, что разум Данте успокаивается во внешнем, неподвижном, церковном догмате, а потому, что сердце его и, вместе

---

\* *Augustin. Conf. VII, 7.*

\*\* *Ibid.*, III, 7.

\*\*\* *Inf. III, 5.*

\*\*\*\* *Augustin, Civ. Dei XXI, 12.*

\*\*\*\*\* *Augustin. Don. persev. 16; Enchir. 99.*

<sup>6\*</sup> *Augustin. Op. imperf. III, 24.*

с ним, сердце всего человечества, мучается и не может и не хочет успокоиться во внутреннем, непрестанно движущемся опыте Зла и Добра, Ада и Рая.

Вечное и подлинное здесь не Ад, а сам Данте, человек, и все человечество, вместе с ним сходящее в Ад, делающее или при- нуждаемое Данте сделать тот же опыт Зла и Добра, какой делает он сам. Заживо еще все люди сходят или сойдут в Ад; знают или узнают все, за пять секунд, минут, часов, дней, лет или десяти- летий до смерти, «вечные муки» Ада.

Ленин, говорят, умирая в Архангельском дворце под Москвой, кричал целыми днями и ночами, может быть, не от физических мук, а от ужасных видений бреда, таким нечеловеческим криком, что собаки издали отвечали на него протяжным воем<sup>32</sup>. И слушая, как сливались эти два голоса, звериный и человеческий, сподвиж- ники Ленина, самые отъявленные из коммунистов-безбожников, чувствовали, может быть, неотразимую действительность того, что религиозный опыт христианства называет «вечными муками ада».

Заживо еще люди сходят в Ад, но никто из них об этом не го- ворит, потому что, когда это с ними делается, им уже не до того, чтоб говорить. Данте — первый и единственный человек, сказав- ший об этом так, что все люди услышали, или могли услышать; узнали от него или могли бы узнать все кое-что о сошествии в Ад, с величайшею для себя и действительнейшею пользою, потому что, если тот же путь, рано или поздно, придется пройти всем, то лучше знать заранее, что ждет их на этом пути; или, другими словами, религиозный опыт Данте, страшный и небывалый, единственный записанный опыт человека, сходявшего заживо в Ад и вышедшего из Ада, погибавшего и спасшегося, может быть спасителен для всего человечества.

Что такое Дантов «Ад» в только художественной оценке людей нашего времени? Дикая легенда средних веков, нечто подобное орудию инквизиционной пытки; как бы черный, обугленный и окровавленный кол, увитый вязью таких неувядаемо све- жих и благоуханных цветов, как Франческа да Римини, Улисс, Капаней, Фарината, Уголино. Снять бы цветы и уничтожить кол. Но этого сделать нельзя, потому что корни цветов, каким-то чудом, вросли в него так, что оторвать их от него нельзя, не убив. Только ради этих цветов сохраняется кол; ложная религия Данте прощается ему ради истинной поэзии. Вот что такое Дантов «Ад»,

в нелицемерной художественной оценке наших дней. Но, может быть, в оценке религиозной, он будет чем-то совсем иным, и только поняв, чем он будет, мы поймем, что сделал Данте.

Внутреннее содержание «Комедии» так же, как и внешняя форма — язык, — простонародно, *vulgare*. Данте для образов «Ада» заимствовал то, что мог слышать от простых людей, на площадях и улицах. Если те две веронские женщины, которые думали, что Данте сходил заживо в Ад, так хорошо понимали и так простодушно верили ему, то потому, что он говорил с ними на их языке, их глазами видел, их сердцем чувствовал. Гордый Данте и здесь смиряется; в духе благороднейший из благородных, избраннейший среди избранных, он идет ко всем, потому что знает, что сказанное — сделанное им — нужно для всех.

Но будучи почти столь же великим для своего времени ученым, как художником, и обладая таким научным ясновидением, что уже предчувствовал, может быть, Ньютонов закон мирового тяготения\*, мог ли Данте верить, что Сатана, падая с неба, пробил теменем воронкообразную, до центра земли уходящую дыру — Ад; и что этим падением уstraшенные воды морей схлынули с гемисферы северной в южную, обнажая материки на той и затопляя их на этой, и что телом Сатаны выдавленная земля образовала на южном полюсе остроконечную, как еловая шишка, гору Чистилища?\*\*\*

Очень вероятно, что все физическое строение Ада для Данте если не вполне, то отчасти так же символично, иносказательно, как для Гете подземное царство «Матерей». Но сошествие Фауста к Матерям<sup>33</sup>, в каком-то нездешнем порядке, так же для Гете действительно, как для Данте — его сошествие в Ад. Внутренняя действительность воплощенного в Мефистофеле «Духа небытия» нисколько не уменьшается для Гете ни козлиным копытом, ни красным блеском адского пламени; так же подлинный ужас нездешнего опыта — «холод междупланетных пространств», которым обвеян «дрянной, мелкий черт» Ивана Карамазова, не уменьшается для Достоевского тем, что если этого черта раздеть, то наверно отыщется «хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки» и у бесов Дантова

---

\* *M. Paléologue. Dante[, essai sur son caractère et son genie (1909)], p. 259. — C. A. Fabricotti. Saggi danteschi (1929), p. 150.*

\*\* *Inf. XXXIV, 121 — M. F. Flamini. Insignificanti riconditi (1903) I, 96. — H. Hauvette, p. 227.*

Ада. Вечною сказочностью этого Ада нисколько не уменьшается внутренняя подлинность таких религиозных опытов, как эти: память у мертвых идет не к прошлому, назад, как у живых, а к будущему, вперед\*; «надеяться на смерть они уже не могут»\*\*; все они спешат за Ахерон — черту, отделяющую вечность от времени, «потому что правосудьем Божиим так гонимы, что страх для них становится желаньем»\*\*\*; в теле человека, чья душа уже находится в аду, может поселиться, вместо души, дьявол\*\*\*\*.

По неотразимой, как бы здешней действительности таких нездешних опытов можно убедиться, что Данте где-то действительно был, где до него никто из живых не бывал, и что-то действительно увидел — узнал, чего не видит и не знает никто.

25 марта 1300 года, в Страстную пятницу, на восходе солнца, произошло одно из величайших событий не только Всемирной, но и Священной Истории: Данте Алигьери, флорентинец, начал сошествие в Ад:

Я не могу сказать, как я туда зашел, —  
 Так полон был я смутным сном,  
 в тот миг,  
 Когда я верный путь уже покинул\*\*\*\*\*.  
 ...И я упал, как сном охваченный внезапным<sup>6\*</sup>.

Этот сон, как бы из вечного гранита изваянный, — вот что такое Дантов Ад. Книгу о жизни своей называет св. Тереза Авильская: «Моя Душа», *mi alma*; так же мог бы назвать и Данте книгу о жизни своей, «Комедию»<sup>7\*</sup>. «Свирепейшим негодованием растерзанное сердце его, *saevissimo indignatione cor dilaceratum*», бьющееся в этой книге, — сердце всего человечества.

«Ревность по доме Твоем снедает меня». — «Ревность люта, как преисподняя» — Ад (Песнь Песн. 8, 6). Весь огонь Дантова Ада зажжен этой «снедающей ревностью», — как бы внутренне-

\* *Inf.* X, 97.

\*\* *Inf.* III, 46.

\*\*\* *Inf.* III, 125.

\*\*\*\* *Inf.* XXXIII, 130.

\*\*\*\*\* *Inf.* I, 10.

<sup>6\*</sup> *Inf.* III, 136.

<sup>7\*</sup> A. R. Hoornaert. *Sainte Thérèse écrivain* (1925), p. 286.

сти выворачивающим негодованием, возмущением Данте против торжествующего в мире, неотомщенного зла:

О, Господи, когда же, наконец,  
 Увижу я Твое *святое* мщенье,  
 Что делает нам сладостным Твой гнев?\*

...О, Божий гнев, зачем же дремлешь ты?\*\*\*

...Доколе же, о, Господи, Ты терпишь?\*\*\*\*

в этом вопле Блаженных как бы вечная мука Ада для них в самом Раю.

...Души убиенных за слово Божие... увидел я под жертвенником. И возопили они громким голосом, говоря: доколе Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? — и даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время (Откр. 6, 9–11)

«Белые одежды» принять и «успокоиться», хотя бы только «на малое время», Данте не хочет или не может; требует «святого мщения» немедленно, как обещала ему Беатриче, после того вопля Блаженных в Раю:

...Еще до смерти  
 Увидишь ты святое мщенье Божье\*\*\*\*.

«Бог пытке невинных посмеивается; земля отдана в руки злодеев; лица судей ее Он закрывает, — *если не он, то кто же?*» — этот вечный вопрос Иова-Данте, вопрос человека и всего человечества, — вечная мука Ада.

Есть Бог, судящий на земле (Пс. 57, 12) — не только на небе когда-нибудь, в вечности, но и на земле, сейчас, — в этом для Данте главное, — тот неугасимый огонь, которым распалается в нем жажда «святого мщения», подобная пламени Ада.

---

\* *Purg.* XX, 94.

\*\* *Par.* XXVII, 57.

\*\*\* *Par.* XXI, 135.

\*\*\*\* *Par.* XXII, 14.

«Гордая душа» у Данте, *alma sdegnosa*, — не смиренная — не-смиримая\*. Что это — грех или иная, новая святость, не та, что у св. Франциска Ассизского и у всех святых? Если бы все люди были так же покорны и смиренны, как св. Франциск; если бы никто никогда на земле не возмущался против мирового зла, как Иов и Данте, то не было бы «нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3, 13); не было бы их никогда, если бы не сказал Возмутитель кротчайший и смиреннейший:

Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле. Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный.

Если бы Агнец не был и Львом, то искупление мира не совершилось бы.

Все строение Дантова Ада может быть разрушено, но «душа мятежная», «дух возмущенный», вопиющий из ада — из мира: «доколе ж, Господи?» — останется.

## VII РАЗРУШЕНИЕ АДА

«Бог есть виновник зла, как наказания, но не как преступления», — учит св. Фома Аквинский, но не отвечает на вопрос о происхождении зла, а только обходит его, потому что Бог здесь все-таки признан «виновником зла», *Deus est auctor mali*, а весь вопрос в том, как оправдать Бога во зле\*\*. Так же не отвечает на вопрос и Данте.

Ангелов увлек в свое паденье  
Проклятою гордыней тот, кого,  
Раздавленного тяжестью миров,  
Ты видел в безднах ада\*\*\*.

Дантов Люцифер не страшен и не соблазнителен, потому что, при всей внешней огромности, внутренне мал и ничтожен. Это

---

\* *Inf.* VIII, 44.

\*\* *Thomas Aqu[inas]. Summa th[eologiae]. I, 2, q[uaestio] 49, a[r]ticulus] 2.*

\*\*\* *Par.* XXIX, 55.

нелепое, трехликое чудовище, пугало для маленьких детей, слишком не похож на того, о ком сам Данте знает, что некогда был он «благороднейшим из всех созданий»\*, и о ком знает Иов, что «был день, когда пришли сыны Божий предстать пред Господа: между ними пришел и Сатана» (Иов. 1, 6). Дантов Люцифер — жалкая, замерзшая в вечных льдах, раздавленная всею тяжестью миров и в сердце земли железными цепями скованная «Летучая Мышь», беспомощно махающая крыльями, как ветряная мельница, жующая трех, может быть, вовсе не величайших грешников, — такая безвредная, что Данте и Вергилий ползут по шерсти ее, как блохи, и она их не чувствует, — самое слабое в мире существо\*\*. А настоящий дьявол — существо, после Бога, сильнейшее, по крайней мере здесь, на земле, для таких слабых существ, как люди. Данте и это знает: «дьявол — злой червь, пронзающий весь мир», источил его, как гнилое яблоко\*\*\*. Но если в мире, создании Божиим, — такая червоточина Зла, то будет ли побеждено зло добром, дьявол Богом, — еще неизвестно.

Если Христос воистину воскрес, «смертью смерть поправ», то и державу смерти, Ад, победил. Но никаких следов не осталось в Аду от этой победы, кроме трех ничтожных «развалин», *ruina*\*\*\*\*; только об одной из них — разрушенной арке моста над шестой ямой восьмого круга — помнят бесы, что она разрушена сошествием в ад Христа\*\*\*\*\*. В ад сошел и «сокрушил врата медные, верей железные сломал» (Пс. 106, 16), — этого на двери Дантова Ада не видно: так же нетронута она, крепко замкнута и по сошествии Христа, как до него.

«Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15, 55), — на этот вопрос мог бы ответить царь Ада, Сатана: «Все еще там же, где были всегда, — в обоих адах, временном и вечном».

— «Входящие, оставьте все надежды», и надежду на Него, много Победителя Ада. Князю мира сего, уже и сейчас принадлежит большая часть этого мира и, по крайней мере, третья часть того — Ад; но и во второй части, в Чистилище, диавол страшно силен: только что древний Змий появляется там, на цветущем лугу, в виде

---

\* *Purg.* XII, 24.

\*\* *Inf.* XXXIV, 55.

\*\*\* *Inf.* XXIV, 108.

\*\*\*\* *Inf.* V, 34; XII, 4; XXIII, 136.

\*\*\*\*\* *Inf.* XXI, 106.

крошечной «ехидны», biscia, как все полуспасенные души бегут от него в ужасе\*. И в Земном Раю он все еще так силен, что разрушает «колесницу Христову», Церковь\*\*. И даже в Раю Небесном сила его не побеждена окончательно: когда Апостол Петр говорит о превращении Церкви в «помойную яму, где смешаны кровь и грязь, на радость Сатане», — красное зарево вспыхивает на небе:

Тогда все небо покраснело так,  
Как на восходе иль закате солнца  
Краснеет густо грозовая туча\*\*\*.

Это зарево — как бы взрыв огня — Ада — в Раю. Вот как хорошо знает Данте силу не мнимого дьявола, нелепого и жалкого, почти смешного, которого видит в сердце Ада, а настоящего, который в Дантовом Аду если не отсутствует, то остается невидимым, и чей только бледный отблеск мелькает иногда на лице таких «великодушных» грешников, «презрителей Ада», как Фарината, Улисс, Капаней, а яснее всего, может быть, на лице ему, Данте, «родной души», Франчески да Римини.

Кажется иногда, что есть у Данте, сходящего в Ад, кроме Вергилия, еще другой, невидимый Спутник — не светлый и не темный, а Сумеречный Ангел:

То не был ада дух ужасный.  
Порочный мученик, о нет!  
Он был похож на вечер ясный, —  
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет\*\*\*\*.

Может быть, в спутнике этом самое страшное и соблазнительное — то, что он так похож иногда на того, кому он сопутствует: «дух возмущенный» в них обоих — один.

Только ли «ревность люта, как преисподняя» — Ад? Нет, и жалость тоже: это узнает Данте, увидев муки Ада. Прежде чем в него сойти, он уже предчувствует, что самым для него страшным в Аду будет «великое борение с жалостью»:

---

\* *Purg.* VIII, 97.

\*\* *Purg.* XXXII, 129; XXXIII, 38.

\*\*\* *Par.* XXVII, 28.

\*\*\*\* *М. Ю. Лермонтов.*

День уходил; уже темневший воздух  
 Покоил всех, живущих на земле,  
 От их трудов, и только я один  
 Готовился начать труднейший путь,  
 И с жалостью *великое боренье*  
 Мне предстояло\*.

И, видя муки Ада, он изнемогает в этом борении:

Великая меня смутила жалость\*\*.

Сколько бы ни укорял его добрый вождь, Вергилий:

Ужель и ты — один из тех безумцев,  
 Кто осужденным Богом сострадает?  
 Здесь жалость в том живет, кто не жалеет\*\*\*—

эти хитрые доводы разума не заглушают простого голоса сердца,  
 и все-таки первое естественное чувство, при виде мук, — жалеть.

Здесь вздохи, плачи, громкие стенанья  
 Звучали в воздухе беззвездном так,  
 Что, внемля им, и я заплакал,\*\*\*\*  
 Вид стольких мук так помутил мне очи,  
 Что одного хотел я — плакать, плакать\*\*\*\*\*.

Вся душа его исходит в этих слезах, истаивает от жалости, как воск — от огня.

Самая невыносимая из всех человеческих мук — бессильная жалость: видеть, как близкий человек, или даже далекий, но невинный, страдает, хотеть ему помочь и знать, что помочь нельзя ничем. Если эта мука слишком долго длится, то жалеющий как бы сходит с ума от жалости и не знает, что ему делать, — себя убить или того, кого он жалеет. Кажется, нечто подобное происходило и с Данте, в Аду. Надо удивляться не тому, что он иногда почти

---

\* *Inf.* II, 1.

\*\* *Inf.* V, 72.

\*\*\* *Inf.* XX, 27–28.

\*\*\*\* *Inf.* III, 22.

\*\*\*\*\* *Inf.* XXIX, 1.

сходит с ума от всего, что там видит, а тому, что не совсем и не навсегда лишается рассудка.

В последней, десятой, «Злой Яме», Malebolge, где мучаются фальшивомонетчики, такой был смрад от тел гниющих, как если бы все больные гнилой горячкой «из больниц Мареммы, Вальдикьяны и Сардиньи свалены были в одну общую яму»\*. Кажется иногда, что сам Данте, надышавшись этого смрада, заражается гнилою горячкою Ада и, в беспамятстве бреда, уже не знает, что говорит и что делает.

«Кто ты?» — спрашивает он, нечаянно ударив ногой по лицу одного из замерзших в Ледяном Озере. Но тот не хочет назвать себя и только ругается кощунственно, проклиная Бога или дьявола, мучителя.

Тогда, схватив его за чуб, я крикнул:  
«Себя назвать ты должен, должен будешь,  
Иль не останется на голове твоей  
Ни волоска!» — «Так пусть же облысею, —  
Он мне в ответ, — себя не назову,  
И моего лица ты не увидишь!»  
Уж на руку себе я намотал  
Все волосы его и больше, чем одну  
Я вырвал прядь, а он, скосив глаза  
И пряча от меня лицо, залаял\*\*.

Кто в эту минуту страшнее, безумнее, — мучимый грешник или мучающий праведник?

В пятом круге, при переправе через Стикс, утопающая тень грешника высовывает голову и руки из липкой и зловонной грязи, чтобы хватиться за край ладьи.

«Кто ты, сюда до времени сошедший?»  
Так он спросил, и я ему в ответ:  
«Сюда пришел, но здесь я не останусь.  
А кто ты сам, покрытый гнусной грязью?»  
И он: «Я тот, кто плачет, видишь!»\*\*\*

---

\* *Inf.* XXIX, 46

\*\* *Inf.* XXXII, 97.

\*\*\* *Inf.* VIII, 84.

Этих двух слов: «кто плачет», казалось бы, достаточно, чтобы напомнить Данте о вечном человеческом братстве в вечных муках двойного ада, земного и подземного. Но страх лютой жалости в нем так силен, что он спасается, бежит от него в безумие, в беспомощность, и, как это часто бывает с людьми, слишком страдающими от жалости, ожесточает сердце свое, чтобы не жалеть — не страдать.

... «Я тот, кто плачет, видишь!»  
«Так с плачем же своим и оставайся! —  
Воскликнул я. — Под всей твоею грязью  
Я узнаю тебя!» Тогда он руки  
К ладье простер, но оттолкнул его  
Учитель и сказал: «Прочь, пес нечистый!»  
Потом меня он обнял и, в уста  
Поцеловав, воскликнул:  
«О гордая душа! Благословенна  
Носившая тебя во чреве!»

Худшего места и времени, кажется, нельзя было выбрать для такого благословения:

И я в ответ: «Хотелось бы, учитель,  
Увидеть мне, как он в грязи утонет прежде,  
Чем из нее мы выйдем!» — «Не успеешь  
Ты берега достигнуть, — он сказал, —  
Как утолишь свое желание»...  
И тотчас увидел я, как тех нечистых псов  
Вся мерзостная свора устремилась  
Так яростно, чтоб растерзать его,  
Что все еще за то благодарю я Бога\*.

Кто, в эту минуту, в большем позоре, — тот, «в липкой грязи», или этот, во славе, венчанный Вергилием? Мог ли бы Данте, один из благороднейших в мире людей, говорить и делать нечто подобное, если б не сошел с ума?

Мука грешников, погруженных с головой в вечные льды, которым плакать мешают все новые, непролитые, на глазах их леденеющие слезы, больше всего похожа на муку самого

---

\* *Inf.* VIII, 37.

Данте: вот, может быть, почему, глядя на них, он больше всего сходит с ума.

«Снимите с глаз моих покров жестокий!» — молит один из них, и Данте обещает ему это сделать, под страшную клятву:

... «Скажи мне, кто ты,  
И если глаз твоих я не открою,  
То пусть и я сойду на дно тех льдов кромешных!»  
И он в ответ: «Я — инок Альбериго...  
О, протяни же руку поскорей,  
Не медли же, открой, открой мне очи!»  
Но я их не открыл, и эта низость  
Зачтется мне, я знаю, в благородство\*.

Кто кого побеждает здесь «благородством» или «низостью», — обманутый грешник или обманувший праведник? Самое страшное тут, может быть, то, что самому Данте это как будто не страшно. Даже в таком припадке безумия наблюдает он за собой, как за посторонним; все видит, все сознает, — ничего от себя и от других не скрывает, — ни даже этой хитрости сумасшедшего:

Коль хочешь, друг, чтоб я тебе помог,  
Скажи мне, кто ты...

Но как же не узнает он, чьи глаза глянули на него сквозь наплаканную ледяную глыбу слез, чей голос молит его: «открой мне очи!», как в нем не узнает он себя самого? Или узнает и, еще больше обезумев от страха, еще лютее ожесточает сердце свое против лютой жалости? Но как бы ни ожесточал его, — не ожесточить до конца. Эти мгновенные припадки безумия проходят так же внезапно, как наступают, и снова вся душа его истаивает от жалости, как воск — от огня.

Если трудно не жалеть и низкие души в муках ада, то насколько труднее — высокие.

Томит меня великое желанье  
Узнать судьбу тех доблестных мужей,  
Что отдали добру всю душу...

---

\* *Inf.* XXXIII, 115.

На небе ли блаженствуют они,  
Иль мучатся в аду?\* —

спрашивает Данте одну из этих душ и не может или не хочет поверить, что мучаются в Аду и они, эти подвижники добра. Только что видит их издали, как уже чувствует, что они ему — «родные».

Коль от огня была бы мне защита,  
Я бросился б к родным теням в огонь,  
И думаю, позволил бы учитель  
Мне это сделать...

Если бы позволил, то, значит, и он не так уверен, как это кажется, — что «осужденных Богом жалеть могут только безумцы».

И я сказал: «О, верьте, участь ваша  
Внушает жалость мне, а не презренье,  
И не умрет та жалость никогда...  
Мы — *из одной земли*, и ваши имена  
И ваши подвиги всегда я вспоминаю,  
Как только слышу я о вас»\*\*.

С легким сердцем проклясть их и отречься от них он не может, потому что все они слишком похожи на него: так же любят и страдают, как он; так же горды и мятежны; так же, делая, может быть, зло, хотели добра; так же гонимы и презрены людьми.

«Мы — из одной земли»: вот почему великий грешник Данте не может, не хочет, не должен быть святым; он должен поднять за собой к небу всю тяжесть грешной земли. Может быть, он и сам не знает, что больше любит, — небо или землю; что для него действительно, роднее, святее, — тот мир или этот. Если бы он покинул землю, как покидают ее почти все святые, то с какою легкостью вознесся бы на небо! Но вот, не хочет, не может, не должен покинуть; вместе со всею грешной землей погибнет или спасется. Здесь-то и начинается для Данте, человека и всего человечества, путь к новой святости уже не во Втором Царстве Сына, а в Третьем Царстве Духа.

---

\* *Inf.* VI, 82.

\*\* *Inf.* XVI, 46.

В огненной столице Ада, в раскаленных каменных, зияющих гробах, мучаются «ересиархи» и вольнодумцы-безбожники.

...Вдруг услышал я голос:  
«О, ты, земли Тосканской обитатель,  
По огненному городу идущий,  
Живой, — прошу тебя, остановись!  
Мне звук твоих речей напоминает  
О той моей отчизне благородной,  
Которой, может быть, я в тягость был»...

Это голос великого гражданина Флоренции, Фаринаты дэлыи Уберти, спасшего отечество.

Он поднялся из огненного гроба,  
С лицом таким надменным и спокойным,  
Как будто ад великое презренье  
Ему внушал\*.

Кажется, этого жалеть не надо: он так могуч и непреклонен, так подобен великому духовному праотцу своему, титану Прометею. Нет, жалок и он. «Я, может быть, отчизне в тягость был», — это смиренное слово в гордых устах — не упрек и не жалоба; но такая бесконечно тихая грусть слышится в нем, что видно, как и этот могучий бессилен и незащищен в любви. Память о беспощадно изгнавшей его, неблагодарной отчизне жжет ему душу больше, чем тело жжет огонь.

В третьем круге Ада мучаются «богохульники», под вечным огненным дождем.

И падали на всю песчаную равнину  
Так медленно те огненные хлопья  
Как снег, в безветренном затишье Альп...  
...И вспыхивал от них песок, как трут,  
Под выбивающим огонь кремнем...  
...И я спросил учителя: «Кто этот,  
Там на песке простершийся, огромный?»

---

\* *Inf. X, 22.*

Смертный человек, один из семи вождей Фиванских, Капаней, так же, как Фарината, скованному титану Прометею подобен.

Кто такие Титаны?<sup>34</sup> Злые ли демоны? Нет, древние боги, оклеветанные жертвы новых богов, человеколюбцы и страстотерпцы, такие же, как все невинные «мученики» Ада.

Дети Небес и Земли, венчанные славой,  
Титаны, Пращурь прашуров наших, живущие в Тартаре темном.  
Вы — родники и начала всей страждущей твари, —

молятся им Орфики<sup>\*35</sup>.

...И, услышав, что говорю о нем,  
Он закричал: «Каков я был живой, —  
Таков и мертвый! Пусть же утомит  
Бог кузнеца, чьих молний острями  
Я был пронзен, в мой день последний...  
Пусть истощит все молнии громов, —  
Он радостного мщенья не узнает!»

В древнего Титана вырастает Капаней, а Вергилий умалывается в смиренного монашка Доминиканского ордена.

«О, Капаней, гордыней непреклонной  
Ты сам себя казнишь: за ярость ярость  
Неутолимая, — вот злая казнь,  
Тебя достойная!» И, обратившись  
Опять ко мне, он продолжал спокойней:  
«Там, на земле, он Бога презирал,  
И здесь, в аду, все так же презирает»<sup>\*\*</sup>.

Бог, человеконенавистник и человекоубийца, творец двух адов, временного и вечного, — не Бог, а диавол: такого мнимого Бога презирать — значит Истинного чтить. Если это Данте не понимает умом, то сердцем чувствует; если в душе своей, «дневной», в сознании, — он с Вергилием, то бессознательно, в душе «ночной», — с Капанеем; только правоверный католик — с тем,

\* *Гимн. Orph. XXXVI.*

\*\* *Inf. XIV, 28.*

а с этим — нечто большее. «Было в душе моей разделение». Не было в нем никогда большего «разделения» — раздиранья, растерзания души, чем это.

Может быть, и Ахилл, «сражавшийся из-за любви до смерти»<sup>36</sup>, так же невинно страдает в Аду, как смертный титан, Капаней\*.

Медленно проходит мимо Данте и другого великого, из-за любви страдальца, Язона<sup>37</sup> царственная тень:

Скорбит, но мнится, никакая скорбь  
Из глаз его исторгнуть слез не может:  
Такое все еще величье в нем\*\*, —

говорит восхищенный Вергилий, как будто восхищаться величием осужденных Богом — не такое же «безумье», как их жалеть.

Душу свою погубил Улисс, новых земель открыватель<sup>38</sup>, за божественную радость познания. Цели уже почти достиг — увидел вдали берег новой земли, может быть, той самой, которую некогда увидит Колумб:

Обрадовались мы, но ненадолго:  
Вдруг радость наша обратилась в плач, —

когда налетевшая буря разбила корабль, —

И как угодно было то Другому, —  
Нас поглотив, сомкнулся океан\*\*\*.

Кто этот «Другой», — Бог или диавол, — знает ли Улисс, знает ли сам Данте?

В буре земной погиб Улисс, а в вечной буре Ада двух погибших любовников, Паоло и Франчески, обнявшиеся тени реют так легко, что кажется, не буря уносит их, а сами летят они вольно туда, куда влечет их сила любви, чьих крепких уз и Ад не расторг. Там, на земле, они друг друга любили так, что и здесь, в Аду, неразлучны навеки. «Что Бог сочтает, того человек да не разлучает», — не разлучит и Бог.

---

\* *Inf.* V, 65.

\*\* *Inf.* XVIII, 83.

\*\*\* *Inf.* XXVI, 136.

Я на земле его любила так,  
Что он меня и здесь, как видишь, не покинул\*.

В этих двух словах: «не покинул», — все торжество вечной любви над вечными муками Ада; крепче смерти любовь, и крепче Ада.

От жалости к тебе, Франческа, плачу\*\*.

Плачет, может быть, не только от жалости, но и от восторга, потому что чувствует вдруг, понимает, если не умом, то сердцем, что прекраснее, чище, святее такой любви нет ничего на земле, а может быть, и на небе.

Я в них узнал обиженные души\*\*\*.

Обиженные кем? Может быть, для того и сходит с ума, чтоб об этом не думать; спасается в безумье.

Кажется, «обиженные души» он узнает не только в них, но и во всех невинных «мучениках» Ада, *martiri\*\*\*\**, — страшное слово в устах правоверного католика об осужденных Богом. Вслушивается в вопль, доносящийся к нему из тех огненных гробов, где мучаются ересиархи, — вслушивается, и вдруг начинает ему казаться, что и это вопль «несчастливых обиженных»\*\*\*\*\*.

Только ли великие и благородные души торжествуют над муками Ада? Нет, и малые, низшие, если могут, хотя бы на одно мгновение, возвыситься, возмутиться за то, что кем-то, в чем-то «обижены».

Мелкого воришки-святоотатца, ограбившего ризницу Пистойского собора, Ванни Фуччи, жалкая душонка мучается в яме, кишачей ядовитыми гадами. Вдруг, «подняв руки и сложив пальцы в два непристойных знака, *fiche*, он воскликнул:

«Возьми их, Боже: это для Тебя!»

Но тотчас две змеи казнят богохульника: горло обвив, одна сдавила его так, как будто хотела сказать: «Ты этого больше не скажешь!» ,

---

\* *Inf. V*, 104.

\*\* *Inf. V*, 116.

\*\*\* *Inf. V*, 109.

\*\*\*\* *Inf. X*, 2.

\*\*\*\*\* *Inf. IX*, 123.

а другая связала руки его, чтоб «непристойных знаков» больше делать не мог.

И с той поры мне милы стали змеи, —

заключает Данте, забыв, чей образ — древний Змей Искуситель. Радоваться должен бы дьявол богохульству, а не казнить за него. Низкую душу змеи казнят за что-то другое. За что же?

Не видел я во всем аду другого духа,  
Столь гордого, в восстании на Бога;  
Ни даже Капаней столь не был горд\*, —

удивляется Данте и недоумевает, а может быть, где-то, в самой, самой темной, тайной глубине души, откуда и находит на него безумие, чему-то сочувствует, в этом «гордом восстании», — на кого, на Бога или дьявола, — в этом весь вопрос. Низкой душе Ванни Фуччи, в ту минуту, когда он делает свой «непристойный знак», сам не зная, кому и за что, — внушает ад такое же «великое презренье», как и высоким душам Фаринаты, Франчески, Капанея, Улисса — всех великих презрителей Ада.

Что же дает силу им всем, великим и малым, высоким и низким, торжествовать над Адом? Может быть, и этого Данте не понимает умом, но сердцем чувствует: ад — насилье, а душа — свобода; этого божественного дара не отнимет у нее никто; этого царственного знака помазания с чела ее никто не сотрет. Кем бы ни был создан ад, Богом или дьяволом, — праведно и здесь, в аду, восстание души человеческой против насилия, во имя свободы. «Бог поставил свободную волю своего творения так высоко, что подчинил ей судьбу всего дела своего», — мудро и свято понял Шеллинг\*\*. Если вечны муки ада, то и восстание на них вечно. Этого не может не почувствовать один из свободнейших в мире людей, Данте.

О, если ты не не плачешь и об этом, —  
О чем же плачешь ты? —

спрашивает его Уголино, который сам уже не плачет и не возмущается, — только вспоминает о том, что было с ним до этого вто-

---

\* *Inf.* XXV, 1.

\*\* *Schelling*. Philosophie der Offenbarung, p. 359.

рого ада, вечного, в том первом, временном, — о смерти четырех сыновей своих от голода.

Когда же день четвертый наступил,  
Упав к ногам моим, воскликнул Гаддо:  
«Зачем меня покинул ты, отец?  
И так, как видишь ты меня, я видел,  
Как падали, по очереди, все...  
Потом, уже ослепнув, их тела  
Я, ползая, ощупывал и звал  
Умерших, день и два...  
Потом все муки голод победил»,  
Когда он кончил, то, скосив глаза,  
Опять зубами вгрызся в жалкий череп,  
Как жадный пес в обглоданную кость.

Может быть, этот скрежет зубов по кости не более страшен, чем слова Данте:

О, Пиза, ты — позор земли прекрасной...  
Коль все твои соседи медлят карой,  
То, воды Арно в устье преградив,  
Да сдвинутся Капрея и Горгона,  
Чтоб затопить тебя в пучине вод...  
За то, что обрекла детей невинных  
Ты на такую муку, —

«муку», гресе, — Крест\*. Два креста — два невинных; в вопле одного:

Зачем меня покинул ты, отец?

не повторяется ли вопль Другого:

Боже Мой! Боже Мой! для чего ты Меня оставил?

Вот когда мог бы Данте вспомнить надпись на двери Ада:

Создало меня Всемогущество Божие,  
Высшая мудрость и первая Любовь.

---

\* *Inf.* XXXIII, 40.

«Величество Божие — в Трех Лицах... Всемогущество — в Отце... В Сыне — премудрость... в Духе — Любовь», — объясняет сам\*. Но если бы, вспомнив эту надпись, подумал он о крестной муке сынов человеческих и Сына Божия, то, может быть, услышал бы в вечных воплях ада три вечных вопроса; первый — к Отцу Всемогущему: «Доколе будут страдать невинные?» второй — к Сыну Премудрому: «Зачем страдают?» и третий — к Духу Любящему: «За что страдают?» и на все эти вопросы один ответ — молчание.

«Что же, понял, наконец, за что я восстал? А ты покоришься?» — шепчет на ухо Данте, сходящего в ад, невидимый Спутник, и Данте молчит, так же, как те Трое. Но ужас этого молчания больше, чем душа человеческая может вынести. Не вынесла бы и душа Данте: сойдя уже не во внешний, а во внутренний ад — безумие, осталась бы в нем навсегда и погибла бы, если бы не спасло ее чудо, — какое, этого он не говорит, так же об этом молчит, как обо всем самом главном для него и последнем. Но кажется, есть у него два намека на это; оба — в Чистилище. Встреченная там, на втором уступе Горы, тень Гибеллиновского вождя, Буанконте да Монтефельтро, павшего в бою под Кампальдино, в котором и юный Данте участвовал, вспоминает о том, как, в последнюю минуту перед смертью, погибавшая душа его спаслась:

Бежав с пронзенным горлом,  
Я обаграл горячей кровью землю.  
Уже потух мой взор, когда, с последним вздохом  
Я прошептать еще успел: «Мария!»  
И пал на землю, мертв...  
Скажу тебе я правду, ты же людям  
Перескажи ее: взял Ангел душу  
Мою; но дьявол закричал: «Он мой!  
Зачем ты хочешь у меня  
Отнять его из-за одной слезинки?»\*\*

Ангел все-таки отнял душу у дьявола, потому что и одной слезинки довольно, чтобы омыть ее от всех грехов и спасти.

Это первый намек, а вот и второй. Встреченная Данте, у подножия святой Горы Очищения, тень Манфреда, юного, «белокурого

\* *Conv.* II, 5.

\*\* *Purg.* V, 98.

и прекрасного», отлученного от Церкви, великого грешника, убитого в бою под Беневенто, тоже вспоминает, как душа его погибала и спаслась.

«Кто я такой, ты знаешь ли?» — спросил он.  
 Когда же я ответил, что не знаю,  
 То, на груди показывая рану,  
 Он мне сказал с улыбкой: «Я — Манфред...  
 Пронзенный насмерть, я отдался, плача,  
 Тому, Кто с легкостью прощает все.  
 Я знаю, что грехи мои ужасны;  
 Но бесконечной Благости объятья  
 К ней приходящих обнимают всех.  
 О, если б люди это лучше знали, —  
 Моих костей, лишенных погребенья,  
 Не мыл бы дождь, и не сушил бы ветер  
 В чужом краю, на берегу пустынном!  
 Но пусть я проклят пастырями Церкви,  
 Так погубить не могут их проклятья,  
 Чтоб не спасала вечная любовь,  
 Коль цвет надежды в сердце зеленеет!»\*

Чудом вечной Любви будет разрушен ад: это поняв, может быть, спасся и Данте.

...Вдруг молнией был поражен мой ум,  
 Я понял *все*...

Это будет в Раю; но может быть, и Ада крошечную тьму озарила лучом небесной надежды та же молния.

Данте хочет быть «правоверным католиком» и огненного гроба ересиархов боится пуще всего. Если бы ему сказали, что Адом он разрушил ад, то он не поверил бы и даже не понял бы, что это значит.

Вдруг молнией был поражен мой ум, —  
 Я понял все, но, в тот же миг,  
 Потухло все в уме изнеможенном\*\*.

\* *Purg.* III, 105.

\*\* *Par.* XXXIII, 140.

Молния вспыхивает — Данте понимает, что ад есть, но что ада не будет; потухает молния — перестает понимать.

Господи... прости им грехи, а если нет, то изгладь и меня из Книги Твоей (Исх. 32, 32), —

молится Моисей, принявший от Бога закон; молится и Авраам о Содоме, уже обреченном, — аде земном:

Господи! Если Ты хочешь, чтоб мир был, то нет правосудия (Закона); а если хочешь, чтобы было правосудие (Закон), то мира не будет: выбери одно из двух\*, —

или ад — Закон, или мир — Любовь.

Обе эти молитвы понял бы, может быть, Данте, христианин уже не римско-католической, а Вселенской Церкви.

Хочет Бог, чтобы все спаслись. (I Тим. 2, 4.)

Все мы придем в единство познания Сына Божия (Ефес. 4, 13).

Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать (Рим. 11, 32).

Все да будет едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино (Ин. 17, 21), —

молится Иисус.

Да будет Бог все во всех, —

молится Павел (I Кор. 15, 28).

«Благодать Божия... вернет *всю тварь* к началу и концу единому... ибо все падшие могут возвыситься (не только во времени, но и в вечности) — от крайних ступеней зла до высших — добра», учит Ориген\*\*. Церковь осудила это учение (543 год): «Кто говорит, что... муки ада не вечны, и что произойдет *Восстановление всего*, *apokatastasis*, — да будет анафема; изобретатель сего учения Ориген... да будет анафема»\*\*\*. Церковь осудила Оригена, но

\* G. Dalman. *Jesus-Jeschua* [: Die drei Sprachen Jesu (1922)], p. 157.

\*\* Prat. Origène (1907), p. 105. — *Orig. De princ.* 3, 121; *C. Cels.* 7, 3; *In Matth.* 13, 2; *In. Joh.* 1, 16.

\*\*\* *Denzinger. Enchiridion* [Symbolorum et Definitionum, 1854], 211.

такие великие святые, как Амвросий Медиоланский и Григорий Нисский, приняли его учение о конце Ада\*.

Это превосходит наш ум,  
 Как солнечный луч — слабое зренье.  
 Я не могу смотреть на это прямо, —  
 Вот почему так мало говорю об этом... \*\*

«Есть то... чего мы не можем постигнуть умом... и что познаем только (чувством), как бы во сне, *come sognando*», — скажет Данте\*\*\*.

Тайну «Восстановления всего», Апокатастазиса, люди умом не могут постигнуть, но познают ее чувством, «как бы во сне». Тайну эту знали великие святые, в Церкви, а первый, кто узнал ее в миру, — Данте.

## VIII

### КРЕСТ И ПАРАЛЛЕЛИ

«Верую в Три Лица вечных; верую, что сущность Их едина и троична», — отвечает Данте на вопрос Апостола Петра, во что он верует\*\*\*\*. Так для Данте в раю, в «небе Неподвижных Звезд», внешнем и внутреннем, — в последней глубине и высоте его сущности, но не так, на земле. В воле его бессознательной, в «душе ночной», господствует число божественное — Три: Отец, Сын и Дух; а в воле сознательной, в «душе дневной», — число человеческое или демоническое — Два: Сын и Отец, несоединенные, несоединимые в Духе. Три — «во сне» («есть то, чего нельзя постигнуть умом, и что мы познаем только чувством, как бы во сне»), а наяву — Два. «Три свидетельствуют на небе» (I Ин. 5, 7), а на земле — Два.

Тысячелетняя, от III века до Дантова, XIII, ересь Манеса — религиозный опыт двух равно бесконечных и противополож-

\* *Tixeront. Histoire des Dogmes* (1931), II, 200; 231. — *Greg. Nyss. Katech[etische] Rede* 26, 35, 40; *Seele und Auferst[ehung]* 72, 104, 105, 157.

\*\* *Conv.* III, canz. II.

\*\*\* *Conv.* III, 15.

\*\*\*\* *Par.* XXIV, 139.

ных, несоединенных Начал, Бога и Противобога, есть крайняя антитеза христианского опыта Трех, соединяющего два Начала в Третьем, — Отца и Сына в Духе.

В «небе Неподвижных Звезд», — в последней глубине и высоте своей, Данте — христианин, потому что вне христианства, вне Евангелия, нельзя исповедать Троицы.

Всем учением Евангельским  
Об этом глубоком Существом Божественном (Троичном)  
Мой ум запечатлен\*, —

скажет он Апостолу Петру все в том же исповедании. В воле своей бессознательной, в «ночной душе», «как бы во сне», Данте — христианин совершенный, а наяву, в «дневной душе», в сознании, — полухристианин, полуманихей, так же, как св. Августин, до своего обращения. «Горе мне, горе, по каким крутизнам нисходил я в преисподнюю!» — в ад, — мог бы сказать и Данте, вместе с Августином\*\*.

Как часто в грудь  
Себя я бью и горько плачу, каюсь  
В грехах моих, —

говорит он, уже возносясь в восьмое «небо Неподвижных Звезд»\*\*\*. Главный грех его — этот: Два вместо Трех.

В рай восходит он из ада подземного, под знаком Трех, а под знаком Двух, опять нисходит из рая в ад земной.

Но прежде чем судить Данте за манихейскую двойственность, надо вспомнить, как изначально воля к раздвоению в существе человеческом. Самый корень зла — «первородный грех» — есть не что иное, как отпадение человека от единства с Богом — бунт сына против Отца. Кто сказал людям некогда и всегда говорит: «Будете, как боги»<sup>39</sup>, — тот утверждает двух богов, Человека и Бога, как два несоединимых, равно бесконечных и противоположных начала. Это и значит: первый «Манихей» — диавол.

---

\* *Par.* XXIV, 142.

\*\* *Augustin.* Conf. III, 6.

\*\*\* *Par.* XXII, 107

«К (двум) разным целям — (человеческой и Божеской) — ведут два различных пути», — две рядом идущие и несоединенные параллельные линии, — учит Данте\*.

Он (Распятый) — есть мир наш, соделавший из двух одно и разрушивший стоявшую между ними преграду —

учит Павел (Еф. 2, 14).

Только в сердце Распятого, в сердце Креста, скрещиваются две линии — горизонтальная, земная, и вертикальная, небесная, — два пути, человеческий и Божеский: такова божественная геометрия Крестного Знаменья; а два разных пути, — две параллельных, нескрещивающихся линии, — геометрия диавольская. Если Распятый «есть мир наш, делающий из Двух Одно», то диавол есть раздор наш, делающий из Одного Двух. Как бы дурной проводник, стекло между двумя противоположными электрическими полюсами — «преграда» для соединяющей Бога и Человека, Отца и Сына, молнии Трех, — вот что такое диавол. Параллели вместо креста — Два вместо Трех — есть вечное оружие диавола, в борьбе его из-за человека с Богом.

Если «Божественная комедия», так же, как «Новая жизнь», — есть книга Трех, то «Монархия», так же, как «Пир», есть книга Двух.

Двум параллельным линиям, двум несоединимым путям в метафизике Данте, — Вере и Знанию, — соответствуют два таких же несоединимых пути в его политике, — Церковь и Государство.

Кажется, «Монархия» написана им во время итальянского похода Генриха VII, между 1310 и 1312 годами; но книга эта выражает мысль всей жизни Данте\*\*. В ней дан ответ на буллу папы Бонифация VIII, *Unam Sanctam*\*\*\*; «Римский Первосвященник, наместник Того, Кому Бог даровал всякую власть на земле и на небе, господствует над всеми царями и царствами»\*\*\*\*. — «Это будет сделано», — говорит папа. — «Нет, не будет», — отвечает Данте, в конце жизни, в изгнании, так же, как в середине жизни, в отечестве. Тот же голос, что подал он тогда против папы, в Совете Флорентийских граждан, подаст он против всей Римской Церкви, в будущем совете веков и народов: «Ничего не делать, *nihil fiat*».

---

\* *Mon.* III, 16

\*\* *Zingarelli*, p. 88.

\*\*\* *Papini*, p. 101.

\*\*\*\* *Gauthier*, p. 254.

Сообразно двум целям, которые поставил Бог человеку, «нужны ему и две власти: власть Верховного Первосвященника, ведущая людей, согласно с Откровением (верой), к вечному блаженству, и власть Императора, ведущая их, согласно с философией (знанием) к счастью земному»\*. Главное здесь то, что целей две, и путей, к ним идущих рядом, но несоединимых, как две параллельные линии, — тоже два. Он, Распятый на кресте, скрестил два пути, «сделав из Двух Одно и разрушив стоявшую между ними преграду», — говорит Павел. — «Нет, не сделал, не разрушил», — отвечает Данте, а если не отвечает, то, может быть, только оттого, что недодумывает или недоговаривает мысли своей до конца. Не потому ли два равно бесконечных и противоположных Начала, Божеское и человеческое, Вера и Знание, Церковь и Государство, — так несоединимы на земле, что и на небе господствуют те же два Начала, два Бога, как учат новые манихеи — катары, именно здесь, в Ломбардии, где, вероятно, и пишется «Монархия»?

Светская власть должна подчиняться власти церковной, потому что происходит от нее; «император и папа — два неравных светильника, меньший и больший, *luminare majus et luminare minus*; тот заимствует свет от этого, как луна — от солнца» — так учит Церковь и школа-схоластика Средних веков\*\*. Нет, римский Император и римский Первосвященник — два светильника равных, или некогда были и будут равными, — учит Данте.

Два солнца освещают два пути,  
Мирской и Божий; но одно другим  
Потушено, —

власть императора ослаблена или уничтожена властью папы.

...И с пастырским жезлом  
Соединился меч; но быть тому не должно.  
...И, смешивая обе власти, Церковь,  
Себя и ношу оскверняя, в грязь,  
Как вьючное животное, упала\*\*\*.

Чтоб Церковь поднять из грязи, надо снова разделить две смешанные власти, светскую и церковную, потому что сам Христос,

\* *Mon.* III, 16.

\*\* *Kraus*, p. 757.

\*\*\* *Purg.* XVI, 106; 127.

перед лицом Пилата, отрекся от власти земной: «Царство Мое не от мира сего»\*. «Основание Церкви — Христос... а основание Империи — закон человеческий»\*\*. — Римский Первосвященник, «наследник Петра, — может разрешать и связывать все... кроме законов государственных»\*\*\*. — «Римская Империя уже имела всю свою власть в то время, когда еще не было Церкви... Следовательно, земная власть императора исходит, без всякого посредства, из самого источника всякой власти» — Бога\*\*\*\*. — «Против этой истины восстают и Верховный Первосвященник, и все пастыри стада Христова... одушевляемые, может быть, не гордыней, а истинной ревностью о Церкви». — «Но мы должны слушаться их не так, как Христа, а лишь как Петра»\*\*\*\*\*. Это значит: если Церковь хочет подчинить себе Государство, то мы не должны ее слушаться вовсе. Эта мысль о возможном непослушании Церкви, будучи доведена до конца, делается началом Преобразования в Церкви Реформации и могла бы сделаться началом Переворота, Революции.

Два пути, Божеский и человеческий, церковный и государственный — две параллельные, некогда прямые, а потом искривившиеся линии; надо снова их выпрямить. Это и делает или хочет сделать Данте в «Монархии».

Два Бога на небе. Две святыни на земле — Римская Церковь и Римская Империя: так можно бы договорить или додумать главную мысль «Монархии». Та же мысль и в «Пире»: римляне — «святой народ... избранный Богом». Сила его не в силе, а в ведущем его, «Божественном Промысле»<sup>6\*</sup>. Лучшие граждане Рима, от Брута старшего до Цезаря, «не людям, а богам подобные, возвеличили Рим не человеческой любовью, а божественной, что не могло быть... иначе, как по наитию Свыше и для особой, Богом самим поставленной цели» — спасения мира<sup>7\*</sup>.

От Иудеев спасение (Ин. 4, 22), —

говорит Иисус. «Спасение от римлян», — говорит Данте.

\* *Мон.* III, 15.

\*\* *Мон.* III, 10.

\*\*\* *Мон.* III, 8.

\*\*\*\* *Мон.* III, 13.

\*\*\*\*\* *Мон.* III, 3.

<sup>6\*</sup> *Conv.* IV, 4.

<sup>7\*</sup> *Conv.* IV, 5.

Начатая в «Пире» мысль о «святости» Рима продолжается в «Монархии». Сам Христос освятил Римскую Империю, пожелав в ней родиться и умереть. «Сделавшись человеком, Сын Божий записан был, как человек, в единственную перепись всего человеческого рода, бывшую во дни Кесаря Августа»\*. Римскую Империю освятил Христос и смертью своей: «грех Адама не был бы (справедливо) казнен, если бы Римская Империя не была законною... ибо должно было Христу пострадать, по приговору того, кто имел право судить весь человеческий род, чтобы он весь был казнен во Христе. Но Кесарь Тиберий, чьим наместником был Пилат (судивший Христа), не мог быть законным судьей всего человеческого рода, если бы Римская Империя не была законною»\*\*.

Так освящается «народ Божий», римляне, гнуснейшим из всех на земле совершенных злодеяний — убийством Сына Божия. Вот когда «черный херувим» мог бы напомнить слишком искусному логику, Данте:

А я ведь тоже логик!\*\*\*

Римский орел<sup>40</sup> — не менее «святое знамение», *sacrosanto segno*, чем Крест\*\*\*\*.

Данте увидит в раю, в шестом небе Юпитера, бесчисленные, рдеющие, подобно рубинам, искры — души святых, не только христиан, но и язычников, образующие тело Римского Орла:

Духа Святого то были пожары святейшие,  
в том знамении возвеличившие Рим\*\*\*\*\*.

Знамение Сына — Крест; знамение Духа — Орел. Если Данте, устами Апостола Иакова, называет Бога «Императором», то потому, что для него Римская Империя «божественна»<sup>6\*</sup>.

«Что мнутятся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земные... против Господа и Помазанника (Христа) Его»

---

\* *Mon.* II, 11

\*\* *Mon.* II, 12.

\*\*\* *Inf.* XXVII, 122.

\*\*\*\* *Par.* VI, 32.

\*\*\*\*\* *Par.* XIX, 100.

<sup>6\*</sup> *Par.* XXV 41.

(Пс. 2, 1–2) — сказано о Царе Небесном и «можно бы сказать о царе земном», Римском Императоре\*. «Взял на Себя наши немощи и понес наши болезни», — возвещает Римского Императора, Генриха VII, после Христа, *post Christum*, пророк Исайя\*\*. — «Се, Агнец Божий, взявший на Себя грех мира», — возвещает и Данте все того же Генриха\*\*\*. А райская Сибилла, Беатриче, в пророческом видении о судьбах Церкви, возвещает нового «посланника Божия», *messo di Dio*, таинственного «Вождя», Дух, спасителя мира\*\*\*\*. Если для Данте уже и бывший император Генрих, не спасший ни Римский Церкви, ни Римской Империи, подобен Христу, то тем более этот будущий, которому суждено их спасти.

Два Бога на небе — два Христа на земле: Иисус и Римский Император; Тот земную власть отверг, а этот — принял; Тот ведет людей к раю небесному, а этот — к земному. Помнит ли Данте слово Господне:

Я пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете. (Ин. 5, 43)

Знает ли Данте, что этот *иной* — Антихрист? Кажется иногда, что он его не знает и не видит вовсе; что здесь как бы слепая точка в глазу Данте. Очень знаменательно, что самое слово «Антихрист» ни разу во всех книгах Данте не встречается. В том мире, в аду, — Сатана, а в этом — Антихрист отсутствует или остается невидимым. Это тем удивительнее, что сам Данте — как бы «человек из Апокалипсиса» — из тех времен, когда суждено явиться «иному Христу», Антихристу: «мы находимся уже в конце времен»\*\*\*\*\*.

«Я полагаю, что достиг цели моей, — заключает Данте “Монархию”. — Найдены ответы на три поставленных вопроса; первый: нужна ли монархия для блага мира? второй: законна ли была Римская Империя? и третий: прямо ли от Бога происходит власть Императора или через посредство человека (папы)?.. Но ответ на этот последний вопрос не должно понимать так узко, что

---

\* *Mon.* II, 1.

\*\* *Ep.* VI.

\*\*\* *Ep.* VII.

\*\*\*\* *Purg.* XXXIII, 37.

\*\*\*\*\* *Conv.* II, 14.

Римский Император не подчинен Римскому Первосвященнику ни в чем, *in aliquo non subjaceat*, ибо счастье временное, *каким-то образом, quodam modo*, подчинено блаженству вечному. Да почитит же Кесарь Петра, как первородный сын чтит отца своего, дабы, просвещаемый его благодатью отеческой, светлее озарял он весь мир, над которым он поставлен Тем, Кто правит вечным и временным»\*.

Как же Данте не видит, что таким заключением книги он разрушает все, что в ней построил, и доказывает обратное тому, что хотел доказать? Прав Гегель: «Соотношение Кесаря и Папы... остается здесь совершенно неопределенным».

Власть Кесаря подчинена ли власти Первосвященника в чем-либо, — на этот вопрос отвечает вся книга: «Ни в чем», а конец ее утверждает обратное: «В чем-то подчинена». Соединимы ли две цели, поставленные Богом человеку, — временное счастье, рай земной, и блаженство вечное, рай небесный? Два противоречивых ответа и на этот вопрос: «Несоединимы», — отвечает вся книга; «Соединимы», — отвечает ее конец: «Временное счастье подчинено, каким-то образом, блаженству вечному». Но если так, то два пути к двум целям пересекаются там, где одна из целей подчинена другой.

Может ли такой умный человек, как Данте, не видеть этого противоречья? А если он видит его, то почему же терпит?

## IX

### АНТИ-ДАНТЕ

В каждом человеке есть два человека: он сам и двойник его, с его же собственным, но отраженным и опрокинутым, как в дьявольском зеркале, — противоположным лицом.

Ах, две души живут в моей груди!  
Хочет одна от другой оторваться...

Нет, обе хотят в смертном бою сойтись. «Две души» и в Данте живут.

---

\* *Моп.* III, 16.

Я не один — нас двое; я в обоих»\*. — «Делая зло, я обвинял что-то другое, что было во мне, но не было мной», — мог бы сказать и грешный Данте так же, как говорит святой Августин\*\*.

Есть Христос и Антихрист; есть Данте и Анти-Данте.

Кто кидает камнями в детей? Кто обещает брату Альбериго в аду снять с глаз его ледяную кору и, обманув его, думает, что «низость эта зачтется в благородство» обманщику? Кто говорит о любимой — Беатриче иной:

О, если бы она в кипящем масле,  
 Вопила так из-за меня, как я —  
 Из-за нее!

Кто хочет не Единого в Двух, а Двух в Едином? Кто не может сделать выбора между Богом и дьяволом, Христом и Антихристом? Данте? Нет, Анти-Данте.

«Что это за чудо во мне, что за чудовище? и откуда оно?.. Или я уже не я?.. Или такая разница между мной и мной? Но если так, то где же разум?» — мог бы спросить себя и Данте, с таким же удивлением и ужасом, как Августин\*\*\*. «Unde hoc monstrum? Откуда это чудовище?» — есть вопрос на вопрос: «Unde sit malum? откуда Зло? откуда Ад?» — мука на муку, ужас на ужас всей жизни обоих, святого Августина и грешного Данте.

Вот что значит противоречие в конце «Монархии». «Где же разум?» Нет разума — есть безумие, противоразум, антилогика. Данте в аду земном так же сходит с ума, как в подземном. Здесь, в конце «Монархии», — не логическое противоречие, а противоборство метафизическое Двух в Одном, — белого Херувима и «черного», человека и «чудовища», — Данте и Анти-Данте.

Временная победа «двойника» над человеком есть Ад; их борьба — Чистилище; вечное торжество человека — Рай. Данте видят все, Анти-Данте — почти никто; или, наоборот, Анти-Данте видят все, а Данте — почти никто.

Главная ошибка Данте в «Монархии» то, что отдает его в руки Анти-Данте, есть не только его ошибка, но и почти всего христианского человечества, за две тысячи лет. Чтобы на вопрос

\* *Augustin. Conf. VIII, 5.*

\*\* *Ib[id]., X, 30.*

\*\*\* *Ib[id]., VIII, 10.*

Пилата: «Ты — Царь?» ответить: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36), в том смысле, как это понял Данте: «Сам Христос отрекся от власти земной», — надо было бы Христу отречься от самого Себя и от главного дела всей жизни и смерти своей: «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Если Христос действительно «отрекся от власти земной», как это понял Данте и почти все христианство за две тысячи лет, то что же значит:

Мне дана всякая власть на небе и на земле (Мф. 28, 18)?

Между тем словом, предпоследним, к Пилату, и этим, последним, которое сказано людям на земле Воскресшим Господом, — противоречие неразрешимо.

Кажется, ключ к этой темнейшей загадке христианства есть главное и все решающее слово «ныне», в ответ Пилату.

*Ныне*, поп, царство Мое не отсюда, —

это почти в христианстве не услышано или не понято: «ныне — сегодня — сейчас царство Мое еще не от мира сего; но уже идет в мир; будет и здесь, на земле, как на небе». Это понял даже такой человек, как Пилат:

Итак, Ты — Царь? —

повторяет он и настаивает. И слышит ответ:

Ты говоришь, что Я — Царь. Я на то и родился и пришел в мир, чтобы царствовать (Ин. 18, 37).

Это никем не услышано или не понято; это было, как бы не было. «Царство Мое не от мира сего, — неземное, на земле невозможное» — так поняло христианство, и на этом успокоилось\*. Две скрещенные в Кресте линии вновь разомкнулись в две параллели несоединимые — в два царства, земное и небесное, — в Церковь и Государство. Этких-то двух царств хочет и Анти-Данте в «Монархии».

---

\* Д. Мережковский. «Иисус Неизвестный», III, 9.

Верно угадывает он, но неверно оценивает будущие судьбы христианского человечества в том отделении Церкви от Государства, которое, начавшись в Реформации, закончится в Революции. Временное и частное, нужное в некоторых точках отделение Церкви от Государства может быть спасительным; но их отделение вечное, во всем, для обоих убийственно. Церковь без государства, как душа без тела, а государство без Церкви, как тело без души. Только что Церковь скажет: «Царство мое не от мира сего», как мир начнет уходить от Церкви. Чтобы ладье Петровой не потонуть, кормчие в обеих Реформациях, внешней, протестантской, и внутренней, католической, выбросят из ладьи драгоценнейший груз — истинную Теократию — Царство Божие на земле, как на небе.

Если государство и Церковь утверждаются, как два религиозно-несоединимых начала, то равновесие между ними невозможно: сначала государство становится рядом с Церковью, потом над нею господствует и, наконец, уничтожает ее, чтобы сделать противоположным двойником, чудовищным оборотнем Церкви.

Данте борется с Анти-Данте и побеждает его не только в конце «Монархии», но и во всей книге, особенно там, где подчиняет бытие народное бытию всемирному. Воля к подчинению обратному — бытия всемирного народному — есть воля к вечной, братоубийственной войне народов — самоистребление человечества. Это понял Данте, и в этом он ближе к будущему, чем люди наших дней, не наученные опытом первой великой войны и готовящие вторую, последнюю, — вероятный конец европейской цивилизации в новом Ледниковом периоде. Целые народы бесятся, как животные — в припадке водобоязни, в том повальном умственно-нравственном помешательстве, которое мы называем «национализмом», «расизмом»; кровь целых племен воспаляется, как от укуса тарантула, от лютой похоти к самим себе. Часть хочет быть целым, племя — всеплеменем, народ — человечеством, и все, что стесняет этот чудовищный рост его, хочет истребить так же необходимо-естественно, как пламя лесного пожара истребляет сухой лес.

Миру погибнуть или спастись — значит сейчас больше, чем когда-либо, выбрать одно из двух: или вечную войну, в бытии только народном, национальном, или вечный мир в бытии всемирном. Это первый понял Данте не отвлеченно-умственно, а религиозно-опытно; он первый победил, в XIV веке, то, чего мы все еще не можем победить, в XX — узкую народность, «национализм»; первый понял он, что нет мира для отдельных народов:

они погибают, если живут для себя и в себе, — спасаются только в человечестве. И это тем удивительнее, что век Данте совпадает с ранней, еще свежей весной, *prima vera*, того бытия народного, национального, чья летняя засуха теперь пополает весь мир; это тем удивительней, что первый великий отчизнолюбец, патриот новых времен, — Данте. Родины больше, чем он, никто никогда не любил; больше никто за нее не страдал. И вот все-таки имеет он силу выйти из бытия народного во всемирное. Надо было так любить отечество и так страдать за него, как он, чтобы иметь право сказать: «Мир для меня отечество, *mundus est patria*»\*.

Данте, за семь веков до нас, как бы увидев воочию надвигающийся ужас Последней Войны, ее подымающийся из-под земли, взрывающийся ад.

«Странник, чего ты ищешь?» — «Мира! Раса!» — этот вопрос и ответ — вся жизнь и творчество Данте. Эту главную муку его в земном аду вечной войны, — неутолимую жажду мира, — верно угадывает Франческа да Римини — Беатриче Подземная:

О, милая, родная нам, душа...  
 Владыку мира, будь Он нашим другом,  
 Молили б мы дать мир тебе за то,  
 Что пожалел ты нас в великой муке\*\* —

вечной муке ада, где воздух «черно-красен», *perso*, как запекшаяся кровь вечной войны. Кажется иногда, что и мы дышим сейчас тем же «черно-красным» воздухом ада.

Проклял войну и мир благословил великий грешник Данте, как, может быть, никто из великих святых. «Мир всего мира», *raх universalis*, есть величайшее из благ для человечества. Вот почему пастухам (Вифлеемским<sup>41</sup>) возвещены были свыше не богатство, не наслаждение, не почести, не долгоденствие, не здравие, не сила, не красота, а мир; *расе*. «Слава в вышних Богу, а на земле мир», — пело Небесное Воинство. Вот почему и Спаситель приветствовал людей словами: «Мир вам», — выражая тем, что единственное для них спасение — мир\*\*\*.

Данте понял, что главное дело Христа — царство Божие на земле, как на небе — есть вечный мир; понял, что сказать:

\* *De vulg. eloqu.* I, 6.

\*\* *Inf.* V, 88.

\*\*\* *Mon.* I, 4.

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам (Ин. 14, 27) —

мог только Тот, Кто «победил мир» (Ин. 16, 33).

Так как отдельные народы и государства не могут никогда успокоиться на том, чем они обладают, но всегда ищут новых приобретений, то войны между ними бесконечны. «Чтобы положить им конец, уничтожить самую причину войны, нужно, чтобы на всей земле... было одно Государство (Монархия) и один государь, который, обладая всем и уже ничего для себя не желая, сдерживал бы подчиненных ему государей, вместе с их народами, в назначенных им границах так, чтобы между ними был вечный мир, расе», — слово это повторяется у Данте, как заклинание\*. «Странник, чего ты ищешь?» — на этот вопрос отвечает устами Данте весь род человеческий: «Мира!» «Расе!»

Если война есть крайнее насилие — начало всех рабств, то вечный мир есть вечная свобода. Данте первый понял и это. Два для него святейших слова: «мир» и «свобода», — пламенеют в устах его одним и тем же пророческим духом. «Величайший дар Божий людям... свобода... В ней мы уже здесь, на земле, счастливы, как люди, и в ней же будем там (на небе) блаженны, как боги... Только в Монархии, род человеческий живет (свободно) для себя, ибо только ею устраняются все дурные, порабащивающие людей, правления — демократии (в смысле Платоновой и Аристотелевой охлократии) и тирании\*\*». Чтобы это понять, надо помнить, что будущая Дантова Монархия очень похожа на предсказанное в Откровении, «тысячелетнее Царство Святых на земле», и что государь этой будущей Монархии есть таинственный «Вождь», Дух, «Посланник Божий», второй Освободитель мира, который мог бы сказать так же, как Первый:

Дух Господень на Мне; ибо Он... послал Меня... проповедовать пленным освобождение... отпустить измученных (рабов) на свободу (Лк. 4, 18).

Если так, то будущее Государство Данте есть не что иное, как им предсказанное, но неузнанное, Царство Божие, а будущий Государь — неузнанный Христос.

---

\* *Conv.* IV, 4.

\*\* *Mon.* I, 12.

## X

## БУДУЩАЯ ЦЕРКОВЬ

Судьбы мира для Данте решаются где-то между будущим всемирным Государством и будущей Вселенскою Церковью, между «Градом человеческим» и «Градом Божиим», *Civitas hominum* и *Civitas Dei*, по Августину, — в каком-то их согласии или противоборстве. Но как относится, в религиозном опыте Данте, бывшая Церковь к будущей, — трудно понять, потому что мысли свои об этом он прячет, замуровывает в стену так же, как последние песни Рая, может быть, не только от страха Святейшей Инквизиции.

«До смерти огнем да сожжется», *igne comburatur*, в этом приговоре над Данте власти мирской — Флорентийской Коммуны, в 1302 году, повторяется суд власти церковной — папы Бонифация VIII:

этого хотят, этого ищут... там, где каждый день продается Христос\*, —

в Римской Церкви. В 1329 году, через восемь лет по смерти Данте, кардинал Бельтрандо дэль Поджетто сжигает «Монархию» и хочет сжечь кости Данте за «ересь». Медленно, в тоске изгнания, горел он и заживо на этом огне:

...Огонь тоски неугасимой  
Мне пожирает тело на костях\*\*.

Глухо осудит «Монархию» и св. Антонин Флорентийский (1389–1459)\*\*\*, а Тридентский Собор, в 1545 году, осудит ее уже громко\*\*\*\*. Но вековая тяжба Данте с Римскою Церковью все-таки ничем не кончится: он не осужден и не оправдан. Так и остался нерешенным вопрос, кто он такой, — еретик или верный сын католической Церкви. Но может быть, лучше было бы для Церкви осудить его, чем сделать с ним то, что будет сделано, — не увидеть его, не услышать, забыть; потому что, надо сказать правду, как она ни странна и ни маловероятна: в Церкви так же или еще

---

\* *Par.* XVII, 49.

\*\* *Rime* 104.

\*\*\* *Kraus*, p. 765.

\*\*\*\* *C. Balbo*, p. 431.

больше, чем в миру, Данте забыт. Мгновенный огонь костра был бы менее жесток, нежели этот вечный холод забвения; огненные гробы ересиархов — меньшая казнь, в аду, чем ледяные гробы «сынов Иудиных» — предателей.

Данте — «еретик» неосужденный. В чем же ересь его? А вот в чем.

«Некогда гнусная алчность, cupiditas, старейшин фарисейских осквернила древнее священство... и погубила возлюбленный город Давидов (Иерусалим)... Так и вы ныне... влечете за собой все стадо Христово в бездну погибели, — пишет Данте кардиналам Римской церкви, после гибели императора Генриха VII. — Я, хотя и малейшая овца стада, никакой пастьерской власти не имеющая, — все же милостью Божьей, есмь то, что есмь... и ревность по доме Его снедает меня... О, Святейшая Матерь, невеста Христова, каких ты себе детей породила, к стыду своему!.. Но знайте, Отцы, что не я один так думаю... и всегда ли все будут молчать, an semper et hoc silebunt?»\* Здесь уже слышатся первые гулы того великого землетрясения, которое начнется, но не кончится в Реформации.

Логовом своим сделала Римская Церковь «то место, где каждый день продается Христос». — «Древняя Волчица», antica lupa\*\*, ненасытимая Алчность, проклятая Собственность, или, как мы сказали бы, «социальная проблема», решаемая навыворот, не человеком и Богом, а человеком и дьяволом: вот главная для Данте причина того, что мир погибает во зле, и «род человеческий блуждает во мраке, как слепой»\*\*\*.

В небе седьмом, Сатурна, где бесчисленные Огни, души святых, нисходят по высочайшей лестнице, св. Петр Дамианский обличает Римскую церковь.

«Доколе же, о Господи, Ты терпишь?»  
 Так он сказал, и множество Огней,  
 По лестнице сошедши, закружилось,  
 И каждый круг их делал все прекрасней.  
 И, подойдя к нему, остановились,  
 И возопили столь великим воплем,  
 Что я ни с чем его сравнить не мог бы,  
 И слов не понял, — так был оглушен.

\* *Ep.* IX.

\*\* *Purg.* XX, 10.

\*\*\* *Par.* XXVII, 140.

И обратился, в изумлении, к той,  
Которая вела меня... Она, как мать  
На помощь к сыну, бледному от страха,  
Торопится, сказать мне поспешила:  
... «О, если б ты услышал в этом вопле,  
Который испугал тебя, мольбу,  
То понял бы, что суждено тебе  
Святое мщенье Божие увидеть  
Еще до смерти»\*.

Так начинается Страшный Суд над Римскою церковью, а кончается так:

«Слава Отцу, Сыну и Духу Святому!» — поет весь Рай в небе Неподвижных Звезд, и Данте видит четыре пламенеющих факела — апостолов Петра, Иакова, Иоанна и Адама. Вдруг белое пламя Петра,

Так, разгораясь, начало краснеть,  
Как если бы свой белый свет Юпитер  
Во рдеющий свет Марса изменил.

Хор Блаженных умолк, и, в наступившей тишине,

Сказал мне Петр: «Тому, что я краснею,  
Не удивляйся; ты сейчас увидишь,  
Как покраснеют все от слов моих.  
Престол, престол, престол мой опустевший  
Похитил он, и пред Лицом Господним,  
Мой гроб, мой гроб помойной ямой сделал,  
Где кровь и грязь, — на радость Сатане!»

Кто этот «он»? Только ли папа Бонифаций VIII? Нет, и тот, кто за ним, — за маленьким Антихристом — великий.

Тогда все небо покраснело так,  
Как на восходе иль закате солнца,  
Краснеет густо грозовая туча...  
Я думаю, такого не бывало

---

\* *Par.* XXI, 135; XXII, 1.

Затмения на небе с той поры,  
Как распят был Сын Божий на земле\*.

Самое страшное в этом Страшном Суде над Церковью — то, что он так несомненен: кто, в самом деле, усомнится, что если бы Петр увидел, что происходило в Церкви, за тринадцать веков до времени Данте и в последующие века, он покраснел бы от стыда и сказал бы то, что говорит у Данте:

Какого славного начала  
Какой позорнейший конец!  
О, Божий гнев, зачем же дремлешь ты?\*\*\*

Если же Церковь христианская и глазом не сморгнула от этого Страшного Суда Петрова-Дантова, так же, как Церковь иудейская — от суда Иисусова, это не значит, что Страшный Суд Божий минует ее здесь еще, на земле, и там, в вечности.

Два затмения, — это в раю и то на Голгофе, — равны, потому что две меры зла — одного, искупленного в миру, и другого, еще не искупленного в Церкви, — тоже равны. Сыну Божию, Второму Лицу Троицы, нужно было сойти на землю, чтобы искупить грех Адама (вот почему он присутствует здесь); надо будет сойти и Духу Святому, Третьему Лицу, чтобы искупить грех Церкви. Так, в обоих искуплениях, тайна Трех совершается. Вот почему «славою Отцу, Сыну и Духу Святому» — Трем, — начинается все; и число Апостолов — три: Петр, Иаков, Иоанн; и все это происходит в третьей части «Комедии», в XXVII песне «Рая»:  $2 + 7 = 9$ , а «корень Девяти, Три, есть начало всех чудес». По этой симфонии чисел, звучащей и здесь, как повсюду у Данте, из последних глубин и высот, — видно, как для него значительно то, что здесь происходит, и как было бы значительно для нас, если бы мы это поняли.

Тот же Страшный Суд над Церковью совершается и в Тридцать Первой, Второй и Третьей песне Чистилища (опять символика — музыка Трех), в видении, возвещающем конец Римской церкви, столь жалкий и страшный, —

---

\* *Par.* XXVII, 1.

\*\* *Par.* XXVII, 57.

Что у креста Мария  
 В лице немногим больше изменилась,  
 Чем Беатриче — от того виденья.  
 И мне она сказала так:  
 «Знай, что Ковчег, разбитый Змеем, был.  
 И нет его».

Vaso, «Ковчег» и Carro, «Колесница» есть Римская церковь, а «Змей» — дьявол. Теми же словами, какими говорится в Откровении (18, 8) о Звере-Антихристе: «Зверь, которого ты видел, был и нет его» — сказано и здесь, в «темной загадке Сфинкса»<sup>42</sup>, — трудно понять о чем, — только ли о Римской курии или о всей Римской Церкви; этого, может быть, сам Данте не знает, или не хочет знать, потому что это для него слишком страшно.

...Но пусть не думает виновный,  
 Что казнь его минует навсегда.  
 ...Я вижу звезды,  
 Что возвещают миру близкий день  
 И неминуемый, когда под знаком  
 Пятьсот пятнадцати, Посланник Божий  
 Убьет Блудницу вместе с Исполином,  
 Прелюбодействовавшим с нею...

Что «Божий Посланник», *messo di Dio*, чье имя скрыто в тайнописи римских цифр DXV, DVX, DUX, Вождь, — есть Император будущей всемирной Империи — об этом легко догадаться. Но кто «Блудница», «Распутница», *fuia*, с «Исполином» *Gigante*, — только ли Римская курия, с французским королем, Филиппом Красивым, пленившим ее в Авиньоне, или вся Римская церковь, с пленившим ее во всем мире Антихристом, — это понять трудно.

...Может быть,  
 Твой ум смутит пророчество мое,  
 Как темная загадка Сфинкса, но события  
 Развяжут этот крепкий узел скоро...  
 Запомни же слова мои и так,  
 Как слышал от меня, их возвести живущим\*.

Людам наших дней так же трудно понять, что скрыто в этой «темной загадке», *enigma forte*, как сыновьям Данте трудно

\* *Purg.* XXXIII, 6.

было догадаться о замурованных в стене песнях «Рая». Но, может быть, это скучное для нас видение-аллегория с такою же каменной жестокостью геральдических образов, как в родословных щитах, скрывает более драгоценное сокровище, чем бедная камышовая плетенка в том углублении стены, где замурованы были песни «Рая».

Новая Церковь — этих двух, казалось бы, нужнейших и все решающих слов Данте не произносит ни здесь и нигде, может быть, не только от внешнего страха Инквизиции, но и от внутреннего, — тягчайшей ответственности, падающей на тех, кто произносит эти слова, «не для созерцания, а для действия». Но если Церковь не может не быть в мире всегда, потому что слово Господне: «Церковь Мою созижду... и врата адовы не одолеют ее» (Мф. 16, 18), — не может не исполниться, то конец бывшей Церкви есть начало Будущей. «Был ковчег, и нет его», значит: «Нет старой Церкви — новая будет». Если Данте не говорит о Будущей Церкви, то, может быть, не потому, что мало думает о ней, а потому, что слишком о ней думает и мучается ею; так же не говорит об этом, как о своей земной любви к Беатриче Небесной. Если явное, только земное лицо Комедии есть восстание на Римскую церковь и Страшный Суд над нею, то лицо ее тайное, земное и небесное вместе, есть пророчество о будущей Вселенской Церкви.

Данте, записывая бывшее ему видение о конце Римской церкви, не мог не вспомнить того, что слышал, лет двадцать назад, во Флоренции, от учителей своих в школе Санта-Кроче, двух нищих братьев св. Франциска, Пьера Джиованни Оливи и Убертино да Казале, учеников Иоахима Флорского, о «явлении Новой Церкви», *Novae Ecclesiae fundatio*, в Третьем Царстве Духа\*.

Ангельский Учитель», *Doctor Angelicus*, св. Бонавентура, в четвертом небе Солнца, где находится и св. Фома Аквинский, другой учитель Данте, указывает ему на Иоахима Флорского:

Вот Иоаким, игумен Калабрийский,  
Пророческим наитьем одаренный\*\*.

---

\* *E. Buonaiuti. Dante come profeta* (1937), p. 1. — Papini, p. 73; 230. — *Urbertino da Casale. Arbor vitae crucifixae* V, 9.

\*\* *Par.* XII, 140.

Ось, на которой движется все в «Комедии», есть новое Сошествие Духа, чье имя у Данте: «Гончая», *Veltro*, — может быть, тайнопись Иоахимова «Вечного Евангелия»:

Vang — ELe — Te — Rn — O  
VELTRO\*.

Если так, то видимое тело «Комедии» — богословское зодчество, — от св. Фомы Аквинского, а невидимая душа ее — пророческое дыхание, — от Иоахима.

«Нынешнее состояние Церкви должно измениться, *commutandum est status iste Ecelesiae*, — учит Иоахим. — Дни Римской церкви сочтены: новая Вселенская Церковь воздвигнута будет на развалинах старой Церкви Петра»\*\*. Вот что значит «темная загадка Сфинкса» в словах Беатриче:

Знай, что ковчег, разбитый Змеем, был  
И нет его.

Старая церковь была — Новая будет.

«Нынешняя Римская церковь, в своем земном владычестве, есть Вавилон», — говорит Иоахим теми же почти словами, какими через четыреста лет скажут Лютер и Кальвин\*\*\*. Нынешние прелаты Римской Церкви, «друзья богатых и союзники сильных мира сего, истинные члены синагоги сатанинской, возвещают и готовят пришествие Антихриста»\*\*\*\*. — «Он уже родился в Риме и скоро делается папою»\*\*\*\*\*. Это и значит:

Престол, престол, престол мой, опустевший,  
Похитил он и, пред Лицом Господним,  
Мой гроб, мой гроб помойной ямой сделал,  
Где кровь и грязь, — на радость Сатане!<sup>6\*</sup>

\* *Papini*, p. 225 — E. Bohmer. Jahrb[uch] des d[eu]tsch[en] Dante[-]Ges[ellschaft], Bd.] II, 363 — *P. Cassel*. II *Veltro* (1890).

\*\* *Exp[ositio] in Apocal[ipsim]*, fol. 83.

\*\*\* *Ib[id]*., fol. 194, — *Denifle*. Arch[iv für] Lit[eratur- und] Kirch[eng]esch[ichte] des Mittelalters (1885). I, 119.

\*\*\*\* *P. Fournier*. Joachim de Flore (1909), p. 9. — *Super IV Evangelia* fol. 186, 200.

\*\*\*\*\* *E. Buonaiuti*. Gioacchino da Fiore (1921), p. 164.

<sup>6\*</sup> *Par.* XXVII, 22.

Большого восстания на Римскую церковь не будет у Лютера и Кальвина.

Данте — первый великий «протестант», в глубоком и вечном смысле этого слова: *protesto*, «противлюсь», «восстаю»:

Восстань, Боже, суди землю (Пс. 81, 8).

Этого «восстания Божия» первый пророк не в Церкви, а в мире, — Данте.

«Слушаться папы должны мы не так, как Христа (Бога), а лишь так, как Петра» (человека): вот Архимедов рычаг, которым будет низвергнуто земное владычество пап в ложном Римском «боговластии», «теократии».

«Где Церковь, там Христос», *ubi Ecclesia, ibi Christus*: так, для св. Франциска Ассизского и для всех святых, после первых веков христианства, а для Иоахима и для Данте, наоборот: «Церковь там, где Христос», *ubi Christus, ibi Ecclesia*\*. В этом — начало уже не только Преобразования Церкви, Реформации, но и Переворота в ней, Революции. Данте здесь ближе к будущему, чем Лютер и Кальвин.

Двух менее схожих людей, чем Лютер и Данте, трудно себе и представить. Но в самом религиозно-глубоком для них и существенном, есть между ними и общее: та же у обоих «прямота», *drittura*, по слову Данте; то же бесстрашие в исповедании истины:

...Презирая ложь,  
Скажи бесстрашно людям все, что видишь\*\*, —

этот завет Качьягвидо, великого Дантова предка, исполнили оба: если бы даже хотели, то не могли бы не сказать правды, хотя бы и в виду костра; та же у обоих «душа мятежная», *alma sdegnosa*, «дух возмущенный», — начало всех «противлений», «протестантств», в вечном смысле.

Нынешние католики, кажется, слишком уверены, что если бы Данте жил во дни Лютера, то кинул бы его в огненный гроб

\* *Paléologue*, p. 16[7].

\*\* *Par.* XVII, 127.

ересиархов. Может быть, и кинул бы, но почтил бы в аду так же, как Фаринату:

Он поднялся из огненного гроба,  
С лицом таким надменным и спокойным,  
Как будто ад великое презренье  
Ему внушал\*.

Много общего между Данте и Лютером, но больше все-таки разделяющего, все по той же, главной для них обоих, линии «протестантства» — «восстания», в вечном смысле этого слова.

Лютер восстает на Римскую церковь извне, Данте — изнутри. «Наша война не с плотью и кровью... а с духами злобы». с духом Римской церкви воюет Данте, а Лютер — с плотью и кровью: так же мало страдает дух Римской церкви от бешеной брани его, как дьявол — от брошенной в него чернильницы<sup>43</sup>. Только одно отрицание старого — обращенное к Церкви, голое «нет», — у Лютера, а у Данте — «нет» и «да», отрицание старого и утверждение нового. Лютер побеждает Римскую церковь только частично и временно; а если бы победил Данте, то победа его была бы вечной и полной. Тихое восстание Данте страшнее для Церкви, потому что не внешне, а внутренне мятежнее, революционно-взрывчатей буйного и шумного восстания Лютера.

Данте — «протестант» и «католик», опять-таки в вечном смысле этого слова: «христианин Церкви Кафолической, Вселенской». Лютер — только протестант. Если идея Церкви потухнет в умах после Реформации, то потому, что в уме самого Лютера она уже начала потухать: Церковь для него только «община». Греческое слово: *Ekklēsia*<sup>44</sup>, в Евангельском подлиннике, он переводит религиозно и исторически-неверным немецким словом: *Gemeinde*, «община», — опустошая понятие Церкви, как «Тела Христова» — полноты «Наполняющего все во всем» и сводя все глубокое в этом понятии к плоскому, четырехмерное — к двухмерному (Еф. 1, 23). Вот почему в Протестантстве-Реформации будет множество «общин», «церквей», но Церкви не будет.

Лютер логически-правильно думает о Римской Церкви; Данте в ней живет, путаясь в противоречиях, как в «диком и темном лесу», *selva oscura*, *selvaggia*; но жизнь больше логики. «Папа — Антихрист», это легко сказать тому, кто о Римской церкви дума-

\* *Inf.* X, 35.

ет, но трудно тому, кто в ней живет. Может ли быть Церковь без папы, и что она такое сейчас — «помойная яма» или «Святейший Престол», — этого Данте не знает наверное и, может быть, не хочет знать, от страха и муки за церковь. Он судит пап, но не папство; как бы ни были грешны те, это для него свято.

Видя папу Адриана V на том уступе Чистилищной Горы, где очищается грех скупости, жалко поверженного лицом на землю, связанного по рукам и ногам не плотскими узами, Данте падает перед ним на колени.

«Что так тебя повергло?» — он спросил,  
И я в ответ: «Ваш сан, Отец Святейший!»\*

Папу Бонифация VIII, злейшего врага своего и Господня, после жалкого и страшного «сидения» в Ананьи, где французский холоп, Чьяра Колонна ударил железной перчаткой по лицу восьмидесятилетнего старца\*\*, — Данте жалеет и прощает:

Я вижу, как в Ананьи входит знамя  
Французских Лилий; вижу вновь Христа,  
Пленного в наместнике своем;  
Я вижу, как вторично Он осмеян,  
И укусом и желчью напоен,  
И меж разбойниками распят\*\*\*.

Этого Лютер не мог бы сказать, но не потому, что был свободнее, мятежнее, «революционнее», чем Данте, а потому, что меньше чувствовал трагедию Церкви и меньше понимал, что для явления Вселенской Церкви нужно не Преобразование-Реформация, а Переворот-Революция.

Данте чувствует вопрос о Церкви в сердце своем и в сердце мира, как впивающееся жало. Как человек в агонии не знает, хочет ли страдать, чтобы жить, или не жить, чтобы не страдать, так не знает и Данте, хочет ли он быть или не быть в Римской церкви; любит ли ее или ненавидит; мать ли она или мачеха: Тело Христа или тело Зверя. Кто никогда не был в такой агонии, кто

---

\* *Purg.* XIX, 130.

\*\* *Gauthier*, p. 255. — *Federn*, p. 169.

\*\*\* *Purg.* XX, 86.

старой церкви так не любил и так за нее не страдал, тот никогда не войдет в Новую Церковь.

Нет у Воинствующей Церкви большей  
Надежды, чем он, —

слышит Данте из уст Беатриче\*. Мог ли бы он, не будучи глупцом, этому поверить и не почувствовать, какая ответственность падает на него с этою верою? Или Беатриче ошибалась? Много как будто было у Церкви больших надежд, чем Данте? Нет, не ошиблась: с каждым днем надежд все меньше, а величие Данте растет, так что скоро не будет в самом деле у Церкви большей надежды, чем он.

Выйдя из Чистилища, Данте входит в Рай Земной.

И взор в меня вперив, сказал Вергилий:  
«Пройдя огонь, и временный и вечный,  
Того предела ты достиг, мой сын,  
Где зрение мое уже бессильно...  
Так будь же сам себе вождем отныне...  
И от меня не жди ни слов, ни знаков.  
Свободен ты и здрав в своих желаньях...  
Вот почему тебя я надо всем  
Короною и митрою венчаю»\*\*.

Что это значит, объясняет сам Данте в «Монархии», там, где, говоря о власти императора в будущей Всемирной Империи, вспоминает слова Аристотеля: «властвовать должно тому, кто всех превосходит умом» («ум» значит здесь, конечно, «дух»)\*\*\*. Но лучше объясняет Откровение (20, 6):

Будут (победившие с Агнцем) священниками Бога и Христа, и будут с Ним царствовать.

Это и значит: будут увенчаны «короной» императоров и «митрою» пап.

---

\* *Par.* XXV, 52.

\*\* *Purg.* XXVII, 126.

\*\*\* *Mon.* I, 3.

Мы теперь, через семь веков, могли бы знать то, чего не знали современники Данте: нищий, изгнанный, презренный людьми, приговоренный к смерти, но уже венчанный двойным венцом — «корона и митрой», — Данте имел большее право быть духовным вождем человечества, чем все тогдашние папы и императоры. Это могли бы мы знать, но не хотим, и все еще Данте изгнан и презрен, в наши дни, как в свои. Но если надо будет людям, чтобы спастись от второй Великой Войны — второго Потопа, уже не водного, а кровавого и огненного, войти в ковчег новой Вселенской Церкви, то, может быть, поймут они, что самый близкий и нужный им человек — тот, кто один из первых вошел в нее, — Данте.

## XI

### ДВА ИЛИ ТРИ?

Что такое «первородный грех»? Бунт человека против Бога, заключенный в «похоти знания», *libido sciendi*, по глубокому слову Августина. Этому учит Церковь и еще до Церкви учила незапамятно-древняя, седая мудрость Вечной Книги:

Бог заповедал человеку, говоря: от всякого дерева в раю ты будешь есть; а от древа познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь... и сказал Змей жене: нет, не умрете; но откроются глаза ваши, и будете как боги.

Эту мудрость Вечной Книги Данте забыл или недостаточно помнит, решая вопрос о том, как относится Знание к Вере. «Знание есть последнее совершенство нашей души и *высшее для нее блаженство*»\*, — учит он, предпочитая бытие вторичное, отраженное в познании добра и зла, жизни и смерти, бытию первичному, в победе добра над злом, жизни над смертью, и соглашаясь на тот соблазн первородного греха — «похоть знания», — который погубил Матерь Жизни, Еву:

И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла его и ела (Быт. 2, 16–17; 3, 4–6).

---

\* *Conv.* I, 1.

Это и значит: «Высшее блаженство для человека в знании», — не в самом бытии, а в его отражении; не в том, чтобы человеку быть в Боге, а чтоб «быть, как Бог». «Эти люди, как боги, *elli son quasi dei*», — говорит Данте о людях, достигших высшего знания\*.

Знание и Вера, в первоначальной согласии, подобны двум близнецам в одной колыбели. Каину и Авелю. Но, выросши, Каин восстает на Авеля, Знание — на Веру, в братоубийственной распре. Будет ли когда-нибудь распре положен конец, совершится ли великое чудо примирения воскресшего Авеля с убившим его Каином, — нового, верующего Знания — с новой, знающей Верой? Этот вопрос, не только не разрешенный, но и не услышанный святыми в церкви, грешным Данте, первым, услышан и поставлен в миру, в двух книгах: в «Пире» и в «Комедии», или точнее, в «Пире» и в «Аде», или еще точнее, где-то между «Адом» и «Пиром».

Как ни трудно поверить, что «Пир» одновременен «Аду», — это несомненно. В 1308 году кончен «Ад», а «Пир» начат между 1306 и 1308 годами: следовательно, обе книги пишутся вместе\*\*. В 1291 году, вскоре по смерти Беатриче, когда появляется «Жалостливая Дама», *Donna pietosa*, будущая «Прекрасная Дама Философии», — Данте изменяет первой любви своей к Беатриче для этой, второй. Та же измена повторяется и в 1307 году, так что шестнадцати лет любви как не бывало: точно проснувшись от страшного сна — Ада, он все начинает сызнова, с того же времени и места, когда и где заснул: снова выходит из «темного леса, *selva oscura*, столь горького, что смерть немногим горше» (теми же почти словами говорится в обеих книгах, об этом исходе в «Пире»:\*\* «Ты заблудилась, душа моя», *tu... se' ismarrita anima nostra*; и в «Аду»:\*\*\*\* «Верный путь был мною потерян, *la via diritta era smarrita*, “я заблудился”»; снова видит озаренную солнцем «блаженную Гору», *diletto monte*\*\*\*\*\*), — самодовлеющее, от веры освобожденное знание. В эти дни Данте «покинул

---

\* *Conv.* IV, canz. III.

\*\* *Passerini*, p. 268. — *Zingarelli*, p. 53.

\*\*\* *Conv.* II, canz. I.

\*\*\*\* *Inf.* I, 77.

\*\*\*\*\* «*scripturas... teologiae... omissas*».

теологию», — скажет сын его, Пьетро, в истолковании Ада\*. «Теологию покинул» это и значит: покинул Беатриче, — Вере изменил для знания.

«Всякую другую мысль изгоняет из души моей сладость этой новой любви, так что я забываю ту первую любовь мою для второй»\*\*. «Пир» и есть не что иное, как «забвение» — измена первой любви и попытка оправдать измену перед людьми, перед самим собой и перед Богом.

«Я боюсь, чтобы эта меня поработившая страсть (к Милосердной Даме) не показалась людям постыдною. Но всякий стыд прекратится, если я скажу, что движущей силой во мне была не страсть (к смертной женщине), а святая любовь» (к бессмертной Даме Философии)\*\*\*.

Вы, Ангелы, движущие мыслью Третье Небо (любви), внимайте тому, что сердце мое говорит, и чего никому, кроме вас, я сказать не могу, — таким оно кажется странным мне самому...

Странное сердце мое вам одним я открою...

...Против воли смиренной, что мне всегда говорит о Женщине-Ангеле, в небе венчанной, мысль иная, чтоб разрушить ее, восстает...

Но все еще плачет душа моя о первой любви...

«Ты заблудилась, Душа, — оттого так страдаешь», — Дух новой любви мне говорит, —

«Страхом низким страшишься ты этой Дамы (философии).

Но разве не видишь, как милосердна она и смиренна... в величии своем?

Назови же ее единственной Дамой своей, — и такие чудеса ее увидишь, что скажешь: «истинный Владыка мой, Любовь, — се, раба твоя, да будет мне, по слову твоему!»\*\*\*\*

Главная противоположность этих двух прекрасных Дам заключается в том, что ко всему неумолимая и равнодушная Беатриче —

\* *Conv.* II, 12.

\*\* *Conv.* I, 2.

\*\*\* *Conv.* II, *canz.* I.

\*\*\*\* [*Conv.*] II, 15.

Вера незнающая — уходит от земли на небо, а Дама Философия — Знание неверующее — нисходит с неба на землю, «милосердная», *pietosa*; та поработает людей, а эта их освобождает: ум, погруженный в знание, «освобождается». — «Дама Философия свободой прославлена»\*.

«Пир» и «Ад», в самом глубоком существе своем, в движущей их воле, так не похожи друг на друга, так противоречивы, что кажется, написаны не одним человеком, а двумя: «Ад» — христианином, «Пир» — язычником. Если в той книге, — Данте, то в этой — Анти-Данте, или наоборот. Но это кажется только на первый взгляд, а вглядываясь глубже и пристальнее, видишь, что две эти книги писали не два человека, а две души в одном.

Ах, две души живут в моей груди!  
Хочет одна от другой оторваться;  
В грубом вожделье, одна прикиает к земле,  
Всеми трепетными членами, жадно,  
А другая рвется из пыли земной  
К небесной отчизне...

«Ад» написан «душою, рвущейся к небу» — незнающей Верой; «Пир» — «душою, к земле прикиающей», — неверующим Знанием. Но если опять-таки вглядеться глубже и пристальней, то видишь, что каждая из этих двух книг написана обеими душами вместе; в каждой — борются они и не могут победить одна другую. В «Аде» есть уже все, что будет в «Пире», а в «Пире» есть еще все, что уже было в «Аде». Там христианин побеждается язычником, здесь — язычник — христианином; но обе эти победы не окончательны, и после каждой из них борьба ожесточается.

«Небожественная — Противобожеественная комедия», — это возможное заглавие «Пира» понял ли бы Данте? «Будете, как боги», — этот обман Люцифера, невидимого Дантова спутника в Аду, — не лучший ли эпитаф к «Пиру»?

«Сюда пришел я не своею волей, но тот, кто там стоит (Вергилий), ведет меня, быть может, к той (Беатриче), которую ваш Гвидо презирал» — так можно бы истолковать очень темный и загадочный ответ Данте, в Аду, на вопрос Кавальканти отца о сыне его,

---

\* *Conv.* II, 15.

Гвидо\*. Если так, то в этом «быть может», forse, слышится уже, сквозь вещей сон Ада (потому что вся «Комедия» — видение сна) заглушенный отзвук того, что произойдет в «Пире», наяву. Данте уже и здесь, в «Аде», сомневается, не знает наверное, какая из двух Прекрасных Дам ждет его, в конце пути, — первая ли его любовь, небесная, или вторая, земная, — Беатриче, или философия?

Хочет одна душа от другой оторваться, —

эту главную причину всех мук своих он уже давно, еще в «Новой жизни», предчувствовал: «так я боролся с самим собою»\*\*; эта борьба оставалась никому не известной, кроме того несчастного, который мучался в ней\*\*\*.

Муку раздвоения Данте чувствует — это ясно для нас, но что он думает о ней, — трудно сказать, потому что он мучается и наяву почти всегда, «как бы во сне», come sognando — бессознательно, а в те редкие минуты, когда муку сознает, — путается, блуждает в темных мыслях или получувствах, полумыслях, как в том «темном лесу», где заблудился перед сошествием в ад. Но кажется, ход этих мыслей, насколько их можно понять, — таков: «две души», борющиеся в человеке и в человечестве, никогда примириться не могут; чтобы кончить между ними борьбу, надо их разделить окончательно; надо понять, что раздвоение души человеческой — не зло, а добро, установленный Богом закон. Это он и делает, или только хочет сделать, потому что это слишком противоестественно, чтобы можно было сделать это не в отвлеченной мысли, а в жизненном опыте.

«Бог поставил человеку две цели: счастье в жизни земной... знаменуемое раем земным, и вечное блаженство... в созерцании лица Божия... знаменуемое раем небесным. К этим двум целям должно идти двумя различными путями: к первой — через философию, ко второй — через духовное знание»\*\*\*\*. Главное здесь то, что эти два пути различны, diversa: хотя и рядом идут, но никогда не сходятся, как две параллельные линии. Надвое должно человеку разделиться, разорваться, чтобы идти по двум разным путям вме-

---

\* *Inf.* X, 61.

\*\* *V. N.* XXXVIII.

\*\*\* *V. N.* XXXVII.

\*\*\*\* *Mon.* III, 16.

сте или то по одному, то по другому: жить в мире, как будто нет Бога, и в Боге, как будто нет мира. Этого последнего страшного вывода Данте не делает, но кажется иногда, смутно чувствует его неизбежность, — оттого и мучается так.

Двум господам никто служить не может, ибо или одного будет любить, а другого ненавидеть; или одному станет усердствовать, а другому нерадеть (Мф. 6, 24).

Это он забыл, а если помнит, то, может быть, утешает себя тем, что служит не двум господам, а одному на двух разных путях, ведущих к двум разным целям. В «Пире» идет он только по одному из этих двух путей, — знанию, к одной из этих двух целей, — «раю земному», невольно или нарочно закрывая глаза на другой путь — веры — к другой цели — «раю небесному»; видит ясно «последнее совершенство души человеческой» только в мысли, рождающей знание, а на чувство, рождающее веру, закрывает глаза.

«Жить, значит, для животных, чувствовать, а для человека, мыслить». Жить, не пользуясь разумом (как «высшим благом»), для человека, «все равно что быть мертвым»\*. Но если так, то не мертвы ли все, живущие «безумием креста», по слову Павла? Данте не спрашивает себя об этом здесь, в «Пире», на линии Знания; спросит только на другой, параллельной линии — Веры, — в «Божественной комедии».

Все, кроме знания, — «скотская пища, трава и желуди». — «О, блаженны те немногие, кто возлежит за этою трапезою, где вкушается ангельский хлеб»\*\*. Что же значит: «мудрость мудрецов погублю и разум разумных отвергну» (1 Кор. 1, 19), — знание — знающих? Данте не спрашивает себя и об этом; но что подумал бы он, или почувствовал, если бы кто-нибудь напомнил ему, бывшему ученику св. Франциска Ассизского, носившему пояс-веревку Нищих Братьев, что в том самом городе Болонье, где, вероятно, он пишет или готовит «Пир», — в 1307 году, сто лет назад, св. Франциск проклял ученого брата, основавшего там богословскую школу, за то, что этим будто бы «разрушалось все Братство Нищих»?\*\*\* Что почувствовал бы Данте, если бы кто-нибудь напомнил ему эти страшные или только непонятные для

---

\* *Conv. IV, 7.*

\*\* *Conv. I, 1.*

\*\*\* *Actus B. Francisci*, ed. Sabatter, p. 183.

нас слова в Уставе Братства (1223 г.): «Кто из братьев не знает грамоты, тот не должен ей учиться», — «Кто не умеет читать... тем самым учиться и других учить мы запрещаем»\*. Нужно было св. Франциску от всего обнажиться духом, так же, как телом, — мнимое знание «надутых гордыней», схоластиков убить, чтобы истинное знание родить: «Я знаю только одно — нищего Христа и распятого; мне больше ничего не нужно»\*\*.

Нет никакого сомнения, что Франциск отшатнулся бы с отвращением и ужасом от «ангельского хлеба» Дантова «Пира» и предпочел бы ему «скотскую пищу — траву и желуди». Кто же прав, Данте или Франциск? или оба не правы? Это все еще не решенный и даже не услышанный в Церкви вопрос. Может быть, и Данте его не решил, но первый, или один из первых, услышал.

К Данте, в «Пире», ближе св. Франциска «почти божественный дух» Аристотеля, *ingegno quasi divino*. — «Жизни нашей учитель есть Аристотель»\*\*\*. Если так, кто же Христос? «Я есмь путь и истина и жизнь», — кажется иногда, что это мог бы сказать в «Пире» Аристотель, а не Христос. Мнение Аристотеля для Данте — «как бы вселенское, католическое учение Церкви, *quasi cattolica opinione*»\*\*\*\*. Если оно не выше Евангелия, то рядом с ним\*\*\*\*\*. К «Аду» и здесь ближе «Пир», чем это кажется на первый взгляд. Внутреннее зодчество «Ада» — усиление казней по нисходящим кругам — соответствует не Нагорной проповеди, а «Этике» Аристотеля.

Очень знаменательна в устах Вергилия ссылка на Аристотелеву — Дантову «Этику»:

Или не помнишь ты тех мудрых слов,  
 Какими Этика твоя определяет  
 Три состояния души, враждебных Богу?6\*

Не только, впрочем, у грешного Данте, но и у святого Фомы Аквинского, великого столпа католической Церкви, — тот же

\* *M. Beaufreton. S. François d'Assise (1925), p. 41.*

\*\* *Thomas da Celano. Vita secunda II, 71.*

\*\*\* *Conv. IV, 23.*

\*\*\*\* *Conv. IV, 6.*

\*\*\*\*\* *Papini, p. 162. — M. Scherillo. Alcuni capitoli (1896), p. 487.*

6\* *Inf. XI, 79–81.*

уклон мысли — от Христа к Аристотелю\*. Здесь, может быть, отшатнулся бы св. Франциск Ассизский и от св. Фомы, с таким же ужасом, как от грешного Данте.

Сторожу земного рая в Чистилище, самоубийце Катону, говорит Вергилий о Данте:

Свободы ищет он, — сколь драгоценной, —  
Ты, жизнь отдавший за свободу, знаешь\*\*.

Вечно будет людям памятна «жертва несказанная суровейшего подвижника свободы, Марка Катона... Чтобы в мире зажечь к ней любовь, он лучше хотел умереть, чем жить рабом»\*\*\*. — «О, святейший дух Катона! кто посмел бы о тебе говорить?»\*\*\*\* — «В ком из людей образ Божий явлен больше, чем в Катоне?» — скажет Данте, в «Пире», забыв о христианских святых и подвижниках так, как будто никогда никакого христианства и на свете не было.

Первого учителя безбожного и богопротивного знания, Аверроэса, обличавшего «Трех Обманщиков», Моисея, Христа, Магомета\*\*\*\*\* и «лаявшего на Господа, как бешеный пес»<sup>6\*</sup>, Данте увидит, вместе с Орфеем, Эмпедоклом, Сократом, Сенекой и другими великими учителями древности, в ясной области Лимбов, Элизиуме святых язычников:

Там, на лугу, зеленом и цветущем,  
Мужи с медлительным и важным взором,  
В чьих лицах был великой власти признак,  
Беседовали в сладкой тишине<sup>7\*</sup>.

Церковью осужденный за ересь ученик Аверроэса — Антихриста, теолог Сигер Брабантский (1226–1284), начал первый учить в Париже, на улице Соломы, близ Сорбонны, где Данте мог слышать его, — о двух несоединимо-параллельных путях Веры

\* P. Mandonnet. Dante le théologien [(1935)].

\*\* Purg. I, 71.

\*\*\* Mon. II, 4.

\*\*\*\* Conv. IV, 28.

\*\*\*\*\* De tribus impostoribus.

<sup>6\*</sup> Epistola sine titulo.

<sup>7\*</sup> Inf. IV, 111[–114].

и Знания, доказывая в блестящей игре силлогизмов, что бытие Бога, загробную жизнь, Искупление и прочие святейшие истины веры он вынужден принять, как христианин, но должен отвергнуть, как философ\*. Данте увидит его в четвертом небе Солнца, в сонме великих учителей Церкви, рядом с обличавшим его в ереси, св. Фомой Аквинским; тот на него Данте и укажет:

То пламя вечное — душа Сигера,  
 Который зависть в людях возбуждал,  
 Когда учил на улице Соломы,  
 Глубоким истинам в искусных силлогизмах\*\*.

В той же игре силлогизмов не менее искусный игрок, «один из черных херувимов», мог бы напомнить Сигеру и ученику его, Данте:

...А я ведь тоже логик, —  
 Ты этого не знал?\*\*\*

Наша природа человеческая в корне зла, потому что искажена первородным грехом, — учит св. Августин. «Наша природа человеческая в корне добра, *la nostra buona natura*», — учит, вместе с ересиархом Пелагаем, злейшим врагом Августина, Данте в «Пире», где как будто нет вовсе ни первородного греха, ни ада, ни дьявола, а следовательно, как будто нет и Искупления\*\*\*\*. Вся природа, не только человеческая, но и стихийная, — такая же «Милосердная Дама», *Donna pietosa*, для Данте, как и наука о природе, философия. Только в «Чистилище», превратится эта «Милосердная Дама» в беспощадную, «Каменную», *Donna pietosa*, — в «древнюю ведьму». Сирену-обманщицу:

«Я — сладостно поющая Сирена,  
 Манящая пловцов на ложный путь,  
 Кто полюбил меня, тот скоро не разлюбит.  
 Так чар моих могущественна власть!»

\* *E. Gebhart. L'Italie mystique* (1928), p. 325.

\*\* *Par. X*, 136[–138].

\*\*\* *Inf. XXVII*, 122.

\*\*\*\* *Conv. IV*, 27.

Еще уста поющей не сомкнулись,  
Когда явилась мне Жена Святая, —

Беатриче — Вера, обличительница ложного Знания, —

И, разодрав ей спереди одежду,  
Мне показала чрево той нечистой,  
Откуда вышел смрад такой, что я проснулся\*.

В благоуханиях Пира уснул, — проснулся от смрада в Аду.

«Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь», учит Евангелие (Мф. 7, 14); путь просторен и врата широки, — учит Пир. Кажется иногда, что Данте хочет здесь, освободившись от ада и чистилища, прямо войти в Рай Земной, о Рае Небесном вовсе не думая.

«В зрелом возрасте „человек должен раскрыться, как благоухающая роза“\*\*, а в старости благословить пройденный путь... Смерть наша да будет безгорестна... Как спелое яблоко падает с ветки само, не будучи сорвано... так душа должна отделиться от тела безболезненно»\*\*\*.

*Dies irae, dies illa* — этого грозного напоминания Данте не слышит, на светлом Пире Знания, — услышит в темном аду Веры.

Что вкушается на пире, — «ангельский хлеб», или амброзия Олимпийских богов, или огненная пища титанов<sup>45</sup>, или то волшебное, на кухне ведьм приготовленное снадобье, которое даст или не даст Фаусту, человеку и всему человечеству, вечную молодость, — это решит будущее; а пока ясно одно, — что начатый у Данте «пир» до наших дней продолжается, и что если бы довести до конца то, что соблазняет Данте в «похоти знания»: «будете, как боги», — то этим концом была бы наша воля к познанию, как «воля к могуществу». — «Духом божеской, титанической гордости возвеличится человек... и явится Человекобог. Ежечасно побеждая, уже без границ, всю природу волею своею и наукою, человек... будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных», — предскажет этот желанный или страшный конец веселого Дантова

\* *Purg.* XIX, 19[–21; 25–26; 31–33].

\*\* *Conv.* IV, 27.

\*\*\* *Conv.* IV, 28.

пира Достоевский\*; а за пятнадцать веков до него св. Августин уже предсказал: «Чем я хотел уподобиться Тебе, Господи, хотя бы превратно? Не тем ли, что мне было сладко преступать закон... и, будучи рабом, казаться свободным... в темном подобии всемогущества Божия, *tenebrosa omnipotentiae similitudine?*»\*\*

Кажется, и Данте иногда предчувствует, какой бедой может окончиться Пир. Сколько бы ни убеждал он себя, ни обманывал, что Параллели вместо Креста, — два рядом идущих, несоединимых пути, Вера и Знание, — не зло, а добро, установленный Богом закон, — в этом разделении, раздирании души между двумя правдами, двумя целями, земной и небесной, — вечная мука его — внутренний ад: «мука эта была для меня так тяжела, что я не мог ее вынести»\*\*\*.

Кажется, он и сам иногда понимает, что слишком удобная «двойная бухгалтерия» — двоеволие, двоедушие, — «служение двум господам», есть «низость», *viltà*. «Сердце мое соглашалось на это... но, согласившись, говорило: “Боже мой, что это за низкая мысль!”»\*\*\*\*

Может быть, Данте чувствует себя, в иные минуты, одним из тех «малодушных», *ignavi*, не сделавших выбора между Богом и дьяволом, которые казнятся в преддверии ада, хотя и легчайшей, но презреннейшей казнью.

Они принадлежали к злему сонму  
 Тех Ангелов, что не восстали  
 И не были покорны Богу,  
 Но были только сами за себя.  
 Отвергло небо их, и ад не принял...  
 Их мир забыл, и милосердье Божье,  
 И правосудие равно их презирает\*\*\*\*\*.

Может быть, в такие минуты мука Данте, тягчайшая, — самопрезрение.

---

\* Достоевский. «Бр. Карамазовы», XI, 9.

\*\* *Augustin. Conf.* II, 6.

\*\*\* *Conv.* II, 2.

\*\*\*\* *V. N.* XXXVIII.

\*\*\*\*\* *Inf.* III, [37–42; 49–51].

«О, какие это были муки моего рождающего сердца, какие вопли. Боже мой!.. Этого никто не знает, кроме Тебя», — мог бы сказать и Данте, как св. Августин. — «Я искал Тебя, Господи, как только мог; я хотел понять веру мою... и очень устал»... — «Боже мой, единственная надежда моя, услышь меня, не дай мне изнемогнуть в поисках моих, от усталости и отчаяния... дай силу искать Тебя до конца. Ты один видишь силу и немощь мою; исцели немощь, укрепи силу. Ты один видишь знание мое и неведение... Я стучусь, — отвори! Дай мне знать Тебя и любить!»\*

Если так молился Данте вместе с Августином, то, может быть, и его молитва исполнилась. Тем же чудом небесно-земной любви спасся он и здесь, в земном аду, как там, в подземном.

Волю средних веков, к «вере, ищущей разума», *fides quaerens intellectum*, превращает он в волю грядущих веков к «разуму, ищущему веры», *intellectus quaerens fidem*\*\* . Этим-то он и близок нам и нужен сейчас, как никто из людей нашего времени, только верующих или только знающих.

Данте — грешник и, может быть, даже великий, потому что и в этом — во грехе — он так же велик, как во всем. Но в черноте старой греховности его вспыхивают вдруг ослепительно-молнийно-белые точки новой, в христианстве еще небывалой, уже за-христианской, Третье-Заветной святости. Если бывший Данте — весь еще в черноте греха, включающего в себя и грешную «похоть знания», *libido sciendi*, то в этих белых точках святости, включающей в себя и святую волю к знанию, — весь Данте будущий.

В центре земли, на самом дне ада, сковано вечными льдами исполинское тело Люцифера. Данте с Вергилием ползут, точно блохи, по волосам этого тела, как по ступеням ужасающей лестницы к центру земли, «куда влекутся все тяжести». И здесь Вергилий делает сам и принуждает спутника сделать нечто, для него непонятное:

...Перевернувшись  
С мучительным усилием, обратил  
Он голову туда, где были ноги.

---

\* *Augustin. Conf. VII, 7; De trin. XV, 50.*

\*\* *L. Prieur, p. 27.*

И снова лезут они все по той же косматой лестнице — волосам Люциферова тела, теперь уже не вверх, а вниз; но Данте, все еще не понимая, думает, что продолжает спускаться, возвращаясь в ад, пока, наконец, Вергилий не объясняет ему: «когда перевернулся я, ты перешел за центр земли и в гемисфере нижней находишься теперь»\*.

Что в эту минуту чувствует Данте, — только ли ужас неимовернейшего из всех путей? Нет, может быть, и нечто подобное тому, что чувствовал Колумб, устремляя корабли свои сквозь бури океана и «тысячи смертей», все на Запад, на Запад, в неизвестный мир; что чувствовал и предтеча Колумба, древний подвижник знания, новых земель открыватель, Улисс, готовясь устремить свой последний корабль в тот же неизвестный мир.

...И спутникам моим сказал я: «Братья,  
 Прощедшие сквозь тысячи смертей,  
 Чтоб Запада далекого достигнуть, —  
 Не откажите посвятить пути,  
 Никем не хоженному, против солнца,  
 В необитаемый и неизвестный мир, —  
 Остаток дней, теперь уже недолгих.  
 О, вспомните призванье человека  
 Высокое: не в слепоте и страхе,  
 Как зверю, жить, но возвышать свой дух  
 Божественною радостью познанья!»\*\*

Радость эту, может быть, чувствует и Данте, когда, выйдя из подземных недр, первый из людей верхней гемисферы, видит на неизвестном небе нижней — сверкающее в красоте несказанной, четверозвездие Южного Креста\*\*\*.

Когда из мертвенного воздуха я вышел,  
 Печалившего сердце мне и очи,  
 То усладил их разлитой по небу...  
 Прозрачному до высшей сферы звезд...  
 Сладчайший цвет восточного сапфира. —  
 И в нем четыре я звезды увидел,  
 Невиданные от начала мира.

\* *Inf.* XXXIV, 76[–81; 100–126].

\*\* *Inf.* XXVI, 112.

\*\*\* *Purg.* I, 13.

Как радуется им не наше небо!  
 О, вдовствующий Север наш, пустынный,  
 Лишенный тех божественных огней!\*

Этим-то невиданным Крестом и будет крещено у Данте, как та разлитая не на нашем небе, синева «восточного сапфира» — новорожденное Святое Знание грядущих веков; тем же Крестом скрещены, соединены, в неземной геометрии, две параллельные линии — знающая Вера и верующее Знание.

После Александрийских астрономов<sup>47</sup>, Данте первый, до Колумба, угадывает шаровидность земли и существование великого неизвестного материка — бывшей Атлантиды, будущей Америки\*\*. За три века до Галилея, за четыре до Ньютона, предчувствует он закон мирового тяготения\*\*\*. Та же новая воля к опытному знанию — в «Божественной комедии», как в «Атлантическом кодексе» Леонардо да Винчи<sup>48</sup>.

В Огненном Небе, Эмпирее, неземное «восхищение», *raptus*, не мешает Данте, математику, определять с точностью, как относится к западному горизонту и меридиану Иерусалима та астрономическая точка, где он находится\*\*\*\*.

Вот как изображает он закат, на высоте Чистилищной Горы: «Солнце стояло на небе, как стоит оно, в тот час, когда первые лучи его искрятся там, где кровь свою пролил Создавший солнце, и когда, под высоким созвездием Весов, падает Эбр, а воды Ганга сверкают, в полуденный час»\*\*\*\*\*. Это значит: был час, когда на высоте Чистилищной Горы — закат, в Иерусалиме — восход, в Индии — полдень, а в Испании полночь. В этой широте астрономического взгляда на мир — та же упоительная радость полета у Данте, какую чувствовал, должно быть, и Винчи, изобретая человеческие крылья, и нынешние летчики чувствуют, когда горят над ними, без лучей, в ледяной черноте стратосферы, чудные и страшные дневные звезды.

\* *Purg.* I, 22.

\*\* *R. Fornaciari. Studi di Dante* (1901), p. 102. — *G. Finali. Colombo e il viaggio d'Ulisse* (1895). — *A. Chiapelli, Trilogia di Dante* (1905), p. 58. — *H. Hauvette*, p. 281, 359.

\*\*\* *Inf.* XXXII, 2, 73. XXXIV, 110. — *C. A. Fabricotti. Saggi danteschi* (1929), p. 150. — *M. Paléologue*, p. 259.

\*\*\*\* *Par.* XXX, 1.

\*\*\*\*\* *Purg.* XXVII, 1.

По тем волнам, куда я путь мой правлю,  
Никто еще не плавал никогда, — \*

скажет Данте, может быть, с большим правом, чем мог бы сказать Колумб, потому что новый материк духовный, открытый Данте больше, чем материк вещественный, открытый Колумбом.

Того, о чем теперь сказать я должен,  
Не говорил ничей язык, и не писало  
Ничье перо, и никому о том  
Не грезилось\*\*.

«Я хочу показать людям никогда еще никем не испытанные истины» — это мог бы сказать, и в наши дни, Данте\*\*\*.

«Многое я уже видел, как бы во сне», — говорит он о начале жизни своей и то же мог бы сказать об ее конце\*\*\*\*.

Любовь с моей душою говорит...  
Но слов любви мой ум не понимает\*\*\*\*\*.

Сердце поймет, когда в чуде небесно-земной любви будут  
Три — Одно.

Безумен тот, кто думает, что разум  
Постигнуть может бесконечный путь,  
Который Трех в одно соединяет...  
Довольствуйтесь же, люди, малым знанием  
И помните, что, если б все вы знали,  
То Деве было б незачем рождать<sup>6\*</sup>.

Две параллельные линии, не пересекающиеся в кресте — два пути. Вера и Знание, несоединимые в малом разуме человеческом,

---

\* *Purg.* I, 130.

\*\* *Par.* XIX, 7.

\*\*\* *Mon.* I, 1.

\*\*\*\* *Conv.* II, 12.

\*\*\*\*\* *Conv.* III, canz. II.

<sup>6\*</sup> *Purg.* III, 34.

соединяются в великом Разуме Божественном — Логосе. «В Нем была жизнь, и жизнь была Свет человек» (Ин. 1, 4), —

Свет разума, исполненный любви  
Luce intellettuale, piena d'amore, — \*

свет молнии, соединяющей небо и землю.

Как соединяются в Логосе разъединенные в космосе. Древо Жизни и Древо познания, — в этом вопросе — все, для чего Данте жил и все, что он сделал. Он мог бы сказать о всей жизни своей и обо всем своем творчестве то, что говорит о бывшем ему, в Огненном Небе, Эмпирее, видении Трех:

Я был тогда геометру подобен,  
Который ищет квадратуры круга —  
И не находит...  
Так я хотел постигнуть и не мог...  
...Вдруг молнией был поражен мой ум,—  
Я понял все...\*\*

Вещее знамение — символ того, что должно произойти с отступившим от Христа человечеством наших дней, чтобы оно могло, вернувшись ко Христу, спастись, — есть Данте, геометр, испепеленный молнией Трех.

Если когда-нибудь мир, в наши дни, так страшно и жалко погибающий, под демоническим знаком Двух, выйдет из-под него и спасется, под знаком божественным Трех, то потому, что Данте, так же погибавший и спасшийся, — первый не в Церкви, а в миру, против мира и против себя самого, — сказал:

не Два, а Три.

## ХП

### ДАНТЕ И ОН

Если у Данте одно из самых страдальческих лиц, какие только запомнились человечеству, и углы рта опущены, как бы с несказанною горечью, и плечи сгорблены, как бы под раздавливающей тяжестью, то, может быть, главная причина этого — не бедность,

\* *Par.* XXX, 40.

\*\* *Par.* XXXIII, [133–134; 136; 140–141].

не изгнание, не унижение, не одиночество, не тягчайшая из мук его, — бездействие, а что-то другое, о чем он никогда никому, ни даже себе не говорит, и на что невнятный намек слышится только в этих страшных словах:

...О, Юпитер,  
За нас распятый на земле, ужели  
Ты отвратил от нас святые очи?\*

Так ли это? Не грешные ли очи отвратили мы от Него? Медленно страшно охладевает сердце мира ко Христу; охладевает и сердце Данте. Точно черная тень легла между ним и Христом; точно Христос обидел его какой-то нездешней обидой, какой-то горечью неземной огорчил. Может быть, не наяву, когда думает он о Христе, а во сне, когда мучается Христос, — сердце его плачет: «не знаю, не знаю, не знаю кто кого разлюбил, я — Тебя, или Ты — меня!»

Кажется иногда, что между Христом и Данте происходит всю жизнь нечто подобное тому, что произошло в начале жизни между ним и Беатриче, когда она отказала ему в «блаженстве приветствия»: «я почувствовал такую скорбь, что, уйдя от людей туда, где никто не мог меня слышать, я начал плакать... и плача, уснул, как прибитый маленький мальчик»\*\*.

Кажется иногда, что есть два Данте: огненный, вспыхивающий, как молния, и потухающий, серый, холодный, как пепел: молниенный — обращен к Отцу и Духу, а пепельный — к Сыну.

Данте не то что разлюбил Христа, но как будто перестал любить или не захотел знать, что любит Его. К церкви ближе он, чем к Евангелию; к Евангелию ближе, чем к Христу; ко Христу ближе, чем к Иисусу. В том, что Христос воистину Сын Божий, он не сомневается. «Самая зверская, подлая и пагубная из всех человеческих глупостей то, что нет загробной жизни», — говорит он и мог бы прибавить: «Глупость такая же и то, что Христос не Сын Божий»\*\*\*. Данте верит во Христа, но любит его меньше, чем верит. — «Как бы я хотел любить Тебя, Господи! как бы я хотел отдать Тебе душу мою и тело мое! как бы я хотел отдать Тебе...

---

\* *Purg.* VI, 118[–120].

\*\* *V. N.* XII.

\*\*\* *Conv.* II, 8.

о, если бы я знал что!» — этой молитвы св. Франциска Ассизского не мог бы повторить Данте\*. Сердце его не «истаяло», как сердце Франциска, «памятью Страстей Господних пронзенное».

Кажется иногда, что Данте не понял бы этого «незаписанного» слова Господня:

Кто не несет креста своего, тот Мне не брат\*\*.

В Сыне Человеческом Данте как будто не видит и не чувствует Брата. Холодом веет от таких геральдических образов, как Христос — «пеликан»\*\*\*, или «грифон», запряженный в колесницу, на которой едет Беатриче в триумфальном шествии Церкви\*\*\*\*.

Понял бы, вероятно, Данте, что ни Богоматери, ни даже Беатриче нельзя назвать «Венерой», а что Христа нельзя называть «Юпитером», не понимает. Что подумали бы христианские мученики, умиравшие за отказ почтить Олимпийских богов, если бы узнали, что Иисус некогда назван будет «распятым Юпитером»?

Со мной ты будешь вечным гражданином,  
В том городе, где Римлянин — Христос, —

предрекает возлюбленному своему Беатриче\*\*\*\*\*. В двух Люциферовых пастях две одинаковые жвачки — Иуда, предатель Христа, и Брут, убийца Юлия Цезаря<sup>6\*</sup>. Равенством этих двух казней не утверждается ли хотя бы от противного и в какой-то одной точке равенство двух святых, — той, что идет от царя земного, Цезаря, и той, что идет от Царя Небесного, Христа?

Если Данте в исповедании веры своей перед апостолом Петром не упоминает ни словом о воплощении Сына Божия в Сыне Человеческом, то едва ли это случайность, так же, как то, что в «Комедии» нет ни Голгофы, ни Воскресения Христа, ни Евхаристии или все это

---

\* *Joh. Jørgensen*. Frans af Assisi (Fr[anzösische] Üb[ersetzung], 1912), p. 106.

\*\* *W. Bauer*. *Leben Jesu* (1909), p. 384.

\*\*\* Par. XXV, 113.

\*\*\*\* Purg. XXIX, 107.

\*\*\*\*\* Purg. XXXII, 101.

6\* *Inf.* XXXIV, 55.

есть, но только во внешнем церковном догмате, а не во внутреннем религиозном опыте самого Данте; нет вообще Сына Человеческого, есть только Сын Божий\*.

Очень «опасная тайна» всей «Божественной комедии», по слову одного из новейших истолкователей, заключается в том, что Искупление совершилось в жертве Голгофской только наполовину, потому что «Римский Орел» — не менее «святое знамение», *sacrosancto segno*, и не менее действительное орудие спасения, чем Крест\*\*. В тайном строении Дантова мира эти два орудия находятся на двух концах земной оси: на одном из них, в Иерусалиме, — Крест, а на другом, — в земном раю, на вершине Чистилищной Горы и Древа Жизни, — Орел\*\*\*. Если после первой победы над злом, силою Креста, не совершится и вторая победа, силою Орла, то первая — тщетна\*\*\*\*.

В чем большее отступление от Христа, — в том, чтобы утверждать, как Ницше и все его бесчисленные ученики, что христианство совсем «не удалось», или в том, чтобы утверждать, как Данте, что оно удалось «наполовину»?<sup>49</sup>

Что такое искупление для Данте? «Мщение», *vendetta*, совершаемое — страшно сказать — Отцом над Сыном: «мщение совершить над Христом — славу эту дало ему (Тиберию) Правосудие Божие»\*\*\*\*\*. Большее извращение основного христианского догмата трудно себе и представить<sup>6\*</sup>.

«Что направляет стрелу твою к этой цели (к любви)?» — спрашивает апостол Иоанн, и Данте отвечает: «философские доводы», *filosofici argomenti*<sup>7\*</sup>. Трудно себе и представить большее извращение христианского опыта.

Это будет иметь необозримые для всего христианского человечества последствия в том, что сам Данте называет «великим отказом», *il gran rifiuto*, «отступлением» от Христа<sup>8\*</sup>.

\* *Papini*, p. 150. — *Scartazzini*, p. 266.

\*\* *Par.* VI, 32; XVIII, 107. — *L. Valli*. *Chiave della Div[ina] Com[media]* (1925), p. 11, 38.

\*\*\* *Ibid.*, p. 34.

\*\*\*\* *Ibid.*, p. 36, 39 — *Ders.* *Struttura morale dell'universo dantesco* (1935). — *G. Pascoli*. *Minerva oscura* (1917).

\*\*\*\*\* *Par.* VI, 88.

<sup>6\*</sup> *Papini*, p. 167.

<sup>7\*</sup> *Par.* XXVI, 25.

<sup>8\*</sup> *Inf.* III, 60.

*Отступи* от меня, чтоб я мог подкрепиться, прежде, нежели отойду и не будет меня (Пс. 38, 14), —

скажет Христу все христианское человечество, — праведно или неправедно, — этого Данте не может или не хочет решать, мучаясь этим не наяву, а только во сне: «Ужели Ты отвратил от нас святые очи?»

Духа называет Сын «Утешителем», как будто знает, что чем-то невольно огорчит людей, от чего надо будет их «утешить» Духу. Может быть, один из огорченнейших и в утешении наиболее нуждающихся — Данте. Что отделяет его от Христа? То же, что Первый Завет отделяет от Второго, Царство Отца — от Царства Сына, а может быть, и Второй Завет — от Третьего, Царство Сына — от Царства Духа, по Иоахимову «Вечному Евангелию».

На две половины разрублено человечество Его мечом,

не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10, 34).

В той половине, языческой, до удара меча, все или почти все погибли, а в этой половине, христианской, после удара, — кое-кто спасется. Тем же мечом и душа Данте разрублена — «разделена»: «было в душе моей разделение». Две половины человечества и в его душе хотят и не могут срастись, как два обрубка змеиного тела. «Душа человеческая, по природе своей, христианка», — учит Тертуллиан. Нет, полухристианка, полуязычница, как это видно по душе Данте.

...Сомненья древний голод  
Меня терзает вот о чем...  
Родился человек на берегах у Инда,  
Где о Христе никто не знает и не слышал;  
Был праведен во всех своих делах,  
Насколько разум наш постигнуть может;  
И жизнь прожив безгрешно, — умирает,  
Крещения лишенный. Кто ж осудит  
Его, каким судом, и по какой вине?\*

Данте знает или чувствует, что единственный ответ на этот вопрос: «А ты кто человек, что споришь с Богом?» — вовсе не ответ, а затыкание рта (Рим. 9, 20).

\* *Par.* XIX, 70[–78].

...В это царство (рай),  
 Без веры во Христа, вступить не мог бы  
 Никто, ни прежде, чем ко древу  
 Был пригвожден Господь, ни после.  
 Но знай, что многие твердятся «Христос! Христос!»  
 И дальше будут от Христа, чем те,  
 Кто никогда его не знал\*.

Дальше будут от Христа знавшие Его, и все-таки спасутся; ближе будут ко Христу не знавшие Его, и все-таки погибнут? Разум Данте молчит, не спрашивает: «За что?» — но сердце его тихо плачет, как у того «прибитого маленького мальчика».

...Я в них узнал обиженные души\*\*.

Данте, может быть, и сам — одна из этих душ.

«Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев, родных мне по плоти»,

мог бы сказать и Данте, как Павел (Рим. 9, 3).

Праведного язычника, Рифея Троянца, Данте видит в раю, в сонме великих святых.

За то, что отдал прямоте душевной  
 Там, на земле, он всю свою любовь,  
 Бог открывал ему глаза слепые,  
 От благодати к благодати,  
 На будущее искупление наше;  
 И он уже в него поверил так,  
 Что не терпел языческого смрада  
 И обличал порочный род людской\*\*\*.

Спасся праведный, почти святой, язычник Рифей<sup>50</sup>, а не менее святой Вергилий погиб:

Я небо потерял за то, что во Христа  
 Не верил; нет иной вины за мной\*\*\*\*.

\* *Par.* XIX, 103.

\*\* *Inf.* V, 109.

\*\*\* *Par.* XX, 121. — *M. Scherillo. Alcuni capitoli* (1896), p. 465.

\*\*\*\* *Purg.* VII, 7.

Это могли бы сказать с Вергилием все погибшие невинные, в дохристианском человечестве, потому что не верить во Христа, еще не пришедшего, — какая же это вина?

Как много есть желающих бесплодно,  
Таких, кто мог бы утолить желанье,  
Но мучиться им будет вечно!  
Я мудрого Платона разумею,  
И Аристотеля, и множество других, —

так он (Вергилий) сказал, —

...и, вдруг челом поникнув,  
Умолк, в смущении\*.

А когда опять заговорит, то скажет:

...праведным судом  
Я обречен на вечное изгнанье\*\*.

Изгнан, вместе с некрещеными младенцами, в жалкий, детский ад, где слышатся «не громкие вопли, а только тихие вздохи» неутолимой тоски\*\*\*. Если разум Данте соглашается и с этим «праведным судом», то сердце его с ним согласиться не может, но опять молчит, не спрашивает: «За что?», а только тихо плачет, как один из тех некрещеных младенцев в аду.

Праведность всего дохристианского человечества олицетворяется для Данте в «мудром учителе», «сладчайшем отце» его, Вергилий, в ту минуту, когда говорит ему поэт Стаций, обращенный им в христианство язычник:

Ты был тому подобен, кто светильник  
Несет во мраке позади себя,  
Светя, в ночи другим, но не себе, —  
Когда предрек: «Век новый наступает,  
Свет правды скоро воцарится в мире,  
Божественный нисходит с неба Отпрыск...»  
Я обращен тобою ко Христу\*\*\*\*.

\* *Purg.* III, 40.

\*\* *Purg.* XXI, 16

\*\*\* *Inf.* IV, 25.

\*\*\*\* *Purg.* XXII, 67[–73].

В эту минуту Вергилий для Данте — его же собственная, языческая тень: так же несет и он «светильник во мраке, позади себя, путь освещаая другим, но не себе; и так же осужден, если не в том мире, то в этом, на “вечное изгнание”».

Только что появляется в земном раю Чистилища небесный вождь Данте, Беатриче, — вождь его земной и подземный, Вергилий, исчезает перед нею, как ночная тень перед солнцем. Пристально глядя на Беатриче, Данте не замечает сразу этого исчезновения и обращается к Вергилию, «с таким же доверием, с каким дитя, в испуге или в печали, к матери бежит».

Но не было Вергилия со мной,  
Ушел отец сладчайший мой, Вергилий,  
Кому мое спасенье поручила  
Владычица моя. И все, что видел  
Я здесь, в земном раю, не помешало  
Слезам облить мои сухие щеки...  
И потемнеть от них лицу\*.

С этими-то слезами, может быть, и отвращает он грешные очи от Христа, или Тот отвращает от него «святые очи». Данте, который «видит все», — только не это — Лик Христа — вдруг слепнет: не может или не хочет заглянуть Ему прямо в лицо. Так же, как у тех двух учеников, на пути в Эммаус, глаза у него «удержаны» (Лк. 24,16).

Я был, как тот, кто хочет вспомнить  
Забывтое виденье, и не может\*\*.

С огненного неба, Эмпирея, нисходит Христос в восьмое небо  
Неподвижных Звезд.

И мне сказала Беатриче: «Вот Христа  
Над миром торжествующее войско»...  
...И я увидел тысячи лампад;  
Все были Солнцем зажжены одним,  
Как все земные звезды — нашим солнцем.

---

\* *Purg.* XXX, [49–54].

\*\* *Par.* XXIII, 49[–51].

И сквозь его живое пламя Лик  
Просвечивал таким могучим светом,  
Что вынести его не мог мой взор...

Чтобы не видеть этого Солнца — Лица Христова, Данте отвращает от него глаза и смотрит в лицо Беатриче.

«Зачем ты так влюблен в мое лицо,  
Что и смотреть не хочешь на прекрасный,  
В лучах Христа цветущий, Божий сад...  
Где Роза, в ней же Слово стало плотью,  
Где Лилия, чье сладкое дыханье  
Ведет нас всех по верному пути?»  
Так мне сказала Беатриче, и, покорный  
Ее велению, попытался вновь  
Я разомкнуть мои слепые вежды.  
Но точно так, как на земле, бывало,  
Под солнечным лучом, прорвавшим тучу,  
Цветущий дуг я видел, в блеске солнца,  
А сам покрыт был тенью, — так и здесь  
Увидел я бесчисленные сонмы  
Молниеносных лиц, но озарившей  
Их молнии не видел...  
О, Тихий Свет Христов, вознесся Ты на небо,  
Чтоб слабых глаз моих не ослепить\*.

Так, в этом мнимом видении Христа обнаруживается действительная невидимость Его для Данте. Вечно для него памятное видение — Беатриче, а Христос — «видение забытое», *visione oblita*. Солнцем Беатриче — ее улыбкой — затмевается для него «Солнце Христа». Ближе ему, нужнее, действительнее Христа — Беатриче\*\*. Данте не знает и не видит Христа, или меньше знает и видит Его, чем Беатриче, потому что меньше любит Его, чем ее, или меньше помнит свою любовь к Нему, чем к ней. Вместо Него — Она. Данте видит Его только в ней.

Взгляни ж теперь на этот лик (Марии),  
Подобнейший Христову Лику:  
Ты в нем одном Христа увидеть можешь\*\*\*.

\* *Par.* XXIII, 19, 28, 70.

\*\* *Papini*, p. 176.

\*\*\* *Par.* XXXII, 85[-87].

Лик Беатриче, земной девушки в прошлом, — Небесной Девы, Марии в настоящем, — Матери-Духа в будущем: Лик Единой в Трех. Это и значит: Данте может увидеть Его, Сына, только в Ней — в Матери.

### ХІІІ ДАНТЕ И ОНА

Выше сфер высочайших  
возносится вздох сердца моего;  
новая мысль, которую Любовь  
внушила сердцу, плача,  
влечет его к себе\*.

Этот религиозный опыт Данте повторится и в опыте Гете:

Вечная женственность  
Влечет нас к себе<sup>51</sup>.

«Снизу вверх влечет», *pur su lo tira*, у Данте; «влечет нас к себе», *zieht uns hinan*, у Гете.

«Новую мысль» о чуде любви, побеждающем закон тяготения, Данте записал, вероятно, в 1292 году, вскоре по смерти Беатриче; но чудо это началось еще раньше, в 1274 году, при первой встрече девятилетнего мальчика, Данте, с восьмилетней девочкой, Биче\*\*.

...Я вела его  
Очарованьем детских глаз моих\*\*\*.

Это началось в детстве и продолжалось всю жизнь.

С тех юных дней, как я ее увидел  
Впервые на земле, — ей песнь моя...  
Не прекращалась никогда\*\*\*\*.

---

\* *V. N. XLI.*

\*\* *H. Hauvette*, p. 195, 267.

\*\*\* *Purg. XXX*, 122.

\*\*\*\* *Par. XXX*, 28.

Не прекращалось и то чудо любви, которое святые называют «подыманием тела», *levitatio*.

...Правящая небом, Любовь...  
Меня *подняла*\*.

Так же несомненно осязательно, физически, как силу земного тяготения, влекущего вниз, чувствует Данте, не только в душе своей, но и в теле, силу притяжения обратного, влекущего вверх. Сила эта исходит из глаз Беатриче:

...к солнечной Горе (Очищения)  
Я поднят был прекрасными очами\*\*.

Взор ее, живой и умершей-бессмертной, — тот Архимедов рычаг для него, которым подымаются и возносятся все земные тяжести к небу.

Стоя на вершине горы Чистилища, где находится рай земной, и откуда начинается путь в рай небесный, Беатриче смотрит на полуденное солнце в зените так прямо и пристально, «как никогда и орел на него не смотрел», а Данте смотрит на нее так же пристально и прямо, «в ее глаза вперив свой взор». И чудо совершается: вместе с нею возносится и он «выше сфер высочайших», но так плавно-тихо, что этого не чувствует и только по бесконечно растущему свету, —

...Как будто Всемогущий  
На небе солнце новое зажег, —

и по тому, что весь воздух вокруг него ослепительно сверкает, «как только что вынутое из огня, кипящее железо», — он догадывается, что с ним происходит что-то необычайное; но что именно, понимает только тогда, когда Беатриче ему говорит:

Знай, ты теперь уже не на земле,  
Как думаешь, но молнии так быстро  
Не падают, как ты летишь туда,  
Где молнии рождаются\*\*\*.

---

\* *Par. I, 74[-75]*.

\*\* *Par. VIII, 13*.

\*\*\* *Par. I, 62; 91*.

Так рабство всех рабств, закон тяготения, преодолевается чудом свободы — полета. При восхождении по чистилищной лестнице, —

Так прибавлялося желание к желанью  
 Быть наверху, что, с каждым шагом,  
 Я чувствовал, что у меня растут  
 Невидимые крылья для полета\*.

Внешним крыльям, механическим, Леонардовым, и нашим, противоположны эти внутренние, живые крылья Данте: те — чужие, эти — свои; человек остается на тех таким же бескрылым и в небе, каким был на земле; только для того летит, чтобы упасть — умереть, или опуститься и жить, ползая по земле, как червь. Но никогда не упадет и не опустится тот, кто летит на этих внутренних крыльях, живых.

Взят человек от земли — родился, и отойдет в землю — умрет; это значит: притяжение земли есть притяжение смерти, а победа над ним — победа над смертью, вечная жизнь — вечный полет.

Первый человек в раю был бессмертен, потому что свободен от закона тяготения: мог летать, как птица или Ангел, а если не летал, то, может быть, потому, что не успел за слишком короткий, хотя и вечный, миг Рая (Талмуд). Сила земного тяготения начинает действовать в душе и в теле человека, вместе с грехопадением пал Адам — согрешил, и вышел из Рая; отяжелел — умер. Глубочайший смысл всей человеческой трагедии Данте — любви его к Беатриче, так же, как всей «Божественной комедии», — возвращение изгнанного человека и человечества в Рай: «Цель всего моего творения и всех его частей — вывести человека из состояния несчастного (Ада) и привести его к состоянию блаженному» (Раю); преодолеть в душе и в теле человека силу земного тяготения, влекущего вниз, силой тяготения обратного, влекущего вверх; победить поработавший закон механики, необходимости, чудом свободы — полета. Дело Беатриче, дело любви, земное и небесное, — *освобождение* Данте, человека и человечества.

Ты сделала меня, раба, свободным...  
 Освободи же до конца...

---

\* *Purg.* XXVII, 121[–123].

Чтоб дух, от смертной плоти разрешенный,  
К тебе вознесся, —

молится Данте\*.

«Величайший дар Божий людям — *свобода*», — скажет он  
и в «Монархии»\*\*.

Из всех даров, какими одарил  
Творец свои созданья, величайший  
И драгоценнейший, — *свобода* воли,  
Которая всем существам разумным,  
И только им одним, была дана, —

скажет он и в «Комедии»\*\*\*.

Самое свободное и освобождающее в мире, потому что самое  
легкое и закон мирового тяготения наиболее побеждающее, —  
Дух. Вот почему первое слово Сына, обращенное к людям, слово  
о Духе Освободителе:

Дух... послал Меня... проповедовать пленным освобождение... отпу-  
стить измученных (рабов) на *свободу* (Лк. 4, 18).

Вот почему, по Иоахимову «Вечному Евангелию», в Первом  
Завете Отца — закон; во Втором Завете Сына — любовь, а в Третьем  
Завете Духа — свобода\*\*\*\*.

Бог есть Отец; таков второй, позднейший, религиозный опыт  
человечества, а первый, изначальный: Бог есть Мать. Прежде чем  
Богу сказать и услышать от Него: «Отец», — люди сказали Ему  
и от Него услышали: «Мать».

Как утешает кого-либо *Мать*... так утешу Я вас (Ис. 66, 13).

Это было в начале и, может быть, будет в конце. Будет Утешите-  
лем Дух, в явлении Духа-Матери. Бога Отца люди помнят, а Бога  
Мать забыли и тщетно стараются вспомнить в поклонении земной  
Матери Сына, Деве Марии. Данте первый вспомнил Мать. Лучшее,

\* *Par.* XXXI, 85.

\*\* *Mon.* I, 12.

\*\*\* *Par.* V, 19.

\*\*\*\* *Exp[ositio] in Apocal[ipsim]*, fol. 94; *Concordia* V, 84.

чем кто-либо, мог бы он понять это «незаписанное» в Евангелии слово Господне, Аграфон:

Матерь Моя — Дух Святой.  
Mater mea, Spiritus Sanctus.  
He mêter mou to agion pneuma\*.

Религиозный путь Данте — путь всего человечества: от Матери к Сыну в прошлом, а в будущем обратно — от Сына к Матери.

Antiquam exquirite Matrem,  
Матери древней ищите, —

этот ветхий и новый, вечный завет Вергилия и всего дохристианского человечества исполнил Данте.

Две любви к Беатриче соединяются в сердце его, — та, которую жених любит невесту, и та, которую сын любит мать.

...Я обратился к той,  
Которая вела меня... и так,  
Как мать к сыну, бледному от страха,  
Спешит, она ко мне на помощь поспешила\*\*.

Это в середине пути; это и в начале:

...От жалости ко мне она вздохнула  
И на меня взглянула молча так,  
Как смотрит мать на бредящего сына\*\*\*.

В тайне божественного материнства соединяется для Данте Беатриче с Пресвятою Девой Марией:

Дал ей Всевышний воссесть  
В небе Смиренья, там, где Мария\*\*\*\*.

Это в первом видении Рая, около 1292 года, вскоре по смерти Беатриче, и через двадцать восемь лет, около 1320 года, в последнем видении, — то же. Солнечно-желтым сердцем, «Вечная Роза»,

---

\* *Hieronymus*. In Mich. VII; In Jes. XL, 12; In Ezech. XVI, 13. — *A. Resch*. *Agrapha* (1906), p. 238.

\*\* *Par.* XXII, 1[–5].

\*\*\* *Par.* I, 100[–102].

\*\*\*\* *V. N.* XXXIV.

*Rosa candida, Rosa sempiterna\**, цветет под солнцем вечной Весны, в Огненном небе. Эмпирее Сонмы Блаженных, неисчислимые, образуют ее лепестки. В первом, высшем круге их, — Дева Мария; у ног Ее — Ева, «древняя Матерь», *Mater antiqua*; эта «род человеческий ранила, — та исцелила». А в третьем круге, у Евиных ног, — Беатриче\*\*. Но в этих трех Одна — Матерь-Дух. Если этого Данте еще не знает наяву, то «уже видит, как бы во сне», *quasi come sognando, già vedea\*\*\**.

Теми же почти словами, какими Ангел Благовещения говорит. Деве Марии:

Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя (Лк. 1, 35), —

Данте говорит о Беатриче:

Сила Божия нисходит на нее... Дух Небесный...  
...Вот для чего создана была она от вечности\*\*\*\*.

Теми же почти словами говорит Данте о ней, какими Символ Веры говорит о Христе:

Ради нашего спасения сошла Она на землю\*\*\*\*\*.

Смертную женщину, никому, в те дни, еще не известную девушку, Биче Портинару, возносит он выше всех святых, — может быть, выше самой Девы Марии<sup>6\*</sup>. Это «ересь» и «кощунство», если нет «Третьего Царства Духа», а если оно есть, то это новый, в христианстве небывалый, религиозный опыт, уже по ту сторону христианства, — не во Втором Завете, а в Третьем.

О, тихий Свет Христов, вознесся Ты на небо,  
Чтоб слабых глаз моих не ослепить.  
И в тот цветок, на небе пламеневший,  
Единственный, чье сладостное имя

\* *Par.* XXXI, 1; *Par.* XXX, 124.

\*\* *Par.* XXXII, 9.

\*\*\* *Conv.* II, 12.

\*\*\*\* *Conv.* III, canz. II.

\*\*\*\*\* *Rime* 69.

<sup>6\*</sup> *Papini*, p. 76, 180.

Я призываю вечером и утром, —  
 Я погрузил всю душу...  
 И между тем, как та Звезда живая  
 Все затмевала так же здесь, на небе,  
 Как некогда затмила на земле, —  
 Сошедший с неба, огненный венец  
 Обвил ее, вращаясь в чудном блеске,  
 И музыка тишайшая земли...  
 И для души сладчайшая, громами,  
 Что раздирают на четверо тучу,  
 Казалось бы пред тою тихой песнью,  
 Что славила Божественный Сапфир,  
 В чьей синеве еще синее небо.  
 И так звучала песнь Святого Духа:  
 «Я — вечная Любовь, венец блаженства,  
 Которым дышит девственное чрево,  
 Обитель Сына Божья на земле».  
 И повторяли все Огни: «Мария!»  
 И вознеслась на небо Матерь к Сыну.  
 И, как дитя, напившись молока,  
 У груди матери, к ней простирала руки,  
 Так все они простерлись к Ней с любовью...  
 И хором пели все: *Regina coeli*, —  
 Так сладостно, что не забуду век\*.

Может быть, Беатриче, ушедшая в Белую Розу, снова выходит к Данте Девой Марией, так же, как Мария, ушедшая к Сыну, выйдет снова Матерью-Духом. Как бы две «Дамы Щита», *Donne di Schermo*: Беатриче скрывает от Данте Деву Марию, а Дева Мария скрывает от него Духа-Мать.

Ближе всех святых к Данте — Бернад Клервоский (1090–1153), потому что больше всех любит Землю Мать, так же как Матерь Небесную.

Я — Девы Марии верный служитель\*\*.

Кажется иногда, что над ними обоими, святым Бернадом и грешным Данте, совершилось нежнейшее чудо любви — «кормление молоком» Богоматери, *lactatio*. В 1111 году, когда юный

\* *Par.* XXIII, [85–105; 110–111; 121–129].

\*\* *Par.* XXXI, 102.

Бернард молился ночью в пустыне Сэн-Ворльской (Saint-Vorle), в часовне Девы Марии, перед Ее изваянием, и произнес слова:

Матерью тебя яви,  
Monstra te esse matrem, —

изваяние вдруг ожило, и Царица Небесная сжала один из пречистых сосцов своих так, что брызнувшие из него капли молока упали в полураскрытые от восхищения уста Бернарда\*.

O clemens, o pia,  
O dulcis Virgo Maria<sup>52</sup>, —

эта сладчайшая песнь могла родиться только на этих устах, вкусивших божественной сладости того молока, которым был вскормлен Младенец Христос. Горькою полынью кажется Ангелам, по сравнению с нею, и мед райских цветов. Только на тех же устах могла родиться и эта молитва святого Бернарда за грешного Данте:

О, Дева Мать, дочь Сына своего,  
Всея твари высшая в своем смиреньи...  
Услышь мою молитву! Горячее  
Я не молился никогда  
И за себя, чем за него молюсь...  
Спаси его, помилуй... Видишь, сколько  
К Тебе Блаженных простирает руки,  
Со мной и с Беатриче, за него!\*\*\*

Так же, как первый, подземный вождь Данте, Вергилий, исчезает, только что появляется на пороге Земного Рая вождь его, второй, небесный, — Беатриче, — исчезает и она, только что св. Бернард появляется на пороге Света Неизреченного — молнии Трех.

...Я обернулся к ней, горя желаньем  
Спросить о том, чего не мог постигнуть...  
Но в светлых ризах я увидел старца.  
С отеческою благостью лицо

---

\* A. Martin. S. Bernard, p. 10.

\*\* Par. XXXIII, [1–2; 28–29; 38–39].

Он обратил ко мне,  
И я воскликнул: «Где же Беатриче?»  
И он в ответ: «Она меня послала  
Желание твое исполнить до конца.  
И если взглянешь ты на третий круг  
В Небесной Розе, то на троне славы  
Ее увидишь там»... Глаза я поднял  
И увидал ее в сиянье вечном...  
Так и морское дно не отстоит  
От тех высот, где молнии рождаются,  
Как было далеко ее лицо.  
Но все же видел я его так ясно,  
Как будто не был от него ничем  
Я отделен. И к ней я обратился  
С молитвою... и молча на меня  
С далекою улыбкой оглянувшись  
В последний раз, — она вернулась снова  
К Источнику Предвечному любви\*.

В эту минуту Данте не отделен от Беатриче уже ничем: тело ее так же, как тело Пресвятой Девы Марии, есть огненное, всего его объемлющее и проникающее дыхание Духа-Матери. Он — в Ней; Она — в нем. То, чего он хотел и не мог достигнуть на земле, — тайны брачной любви: «будут два одною плотью», — здесь, на небе, исполнилось.

Вся «Божественная комедия», так же как вся человеческая трагедия Данте — любовь его к Беатриче, есть не что иное, как совершаемое над ним чудо Пресвятой Девы Марии, а через Нее, может быть, и чудо Духа-Матери.

#### XIV

#### ТРИ

Истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я ушел; ибо если Я не уйду. Утешитель не придет к вам, а если уйду... то пошлю Его к вам.

Это предсмертное слово Христа к ученикам, вспоминаемое райской Сибиллой, Беатриче, в видении о грядущих судьбах

---

\* *Par.* XXXI, 55[-78; 91-93].

Церкви\*, исполнится и на судьбах Данте: Лица Христова не видит он в Первом пришествии, — только во Втором увидит; Сына в Нем самом не видит, — увидит только в Духе.

...О Юпитер,  
За нас распятый на земле, ужели  
Ты отвратил от нас святые очи?  
Или, быть может, в бездне сокровенной  
Премудрости своей, Ты нам готовишь  
*Неведомое благо?*\*\*

Вся «Комедия» есть не что иное, как утвердительный ответ на этот вопрос: да, «неведомое благо» готовится людям в грядущем явлении того Божественного Существа, под видом «Гончей», *Veltro*, о котором возвещает Вергилий, когда, по выходе из «темного леса», перед сошествием в ад, Данте встречает «Волчицу».

Тебе иным путем отсюда выйти должно...  
Затем, что здесь Волчица стережет...  
Всех убивая встречных... Лютый голод  
Ее таков, что никогда ничем  
Насытиться не может:  
Чем больше ест она, тем голодней.  
Со многими блудит она зверями,  
И будет с большим множеством блудить.  
Но Гончая придет убить Волчицу.  
Не золото той Гончей будет пищей,  
Но добродетель, мудрость и любовь.  
Меж войлоком и войлоком родится  
И жалкую Италию спасет...  
Волчицу же из городов и весей  
Загонит снова в ад, откуда в мир  
Ее когда-то выманила зависть\*\*\*.

Самое близкое к Данте и частное явление этой «древней Волчицы», *antica Lupa*, есть Римская Курия, или даже вся Римская

---

\* *Purg.* XXXIII, 4.

\*\* *Purg.* VI, 118.

\*\*\* *Inf.* I, 91.

Церковь, а самое далекое и общее — «алчность», «жадность», cupidigia — то царящее в мире зло, которое мы называем «социальным неравенством».

О Жадность, всех живущих на земле  
Ты поглотила так, что к небу  
Поднять очей они уже не могут!\*  
Будь проклята, о древняя Волчица,  
Что в голоде своем ненасытимом,  
Лютее всех зверей!\*\*

Кто эта «Волчица», понять легко. Но кто же «Гончая»? Много у Данте темных загадок, крепко замкнутых дверей, от которых ключи потеряны; но из всех загадок темнейшая, крепчайшим замком замкнутая дверь, — эта.

Кажется, два самых ранних истолкователя «Комедии», Безымянный, Anonimo (между 1321 и 1337 гг.) и Пьетро Данте, ближе всех остальных к разгадке. Оба они видят в «Гончей», Veltro, «Христа Судию» Второго Пришествия\*\*\*. Очень вероятно, что истолкование это идет от самого Данте, через сына его. Но если так, то, по-видимому, сам Данте не хотел разгадать загадку до конца; или те, кто от него слышал истолкование, не поняли его, как следует, потому что если имя Veltro, как очень на то похоже, есть тайнопись Иоахимова «Вечного Евангелия» — откровение уже не Второго Лица, Сына, а Третьего, Духа, то и само явление Божественного Существа, чей геральдический образ для Данте есть ослепительно белая и быстрая, как молния, «Гончая», будет явлением тоже не Сына, а Духа\*\*\*\*.

Вот для чего «святые очи отвратил от нас Распятый»: чтобы «приготовить нам неведомое благо». Два бывших и ведомых блага: первое — создание мира; второе — Искупление, а третье, будущее, неведомое, — явление Духа. В этом третьем благе будет что-то прибавлено к начатому, но не конченному в первых двух: мир создал Отец, искупил Сын, оправдает Дух. Это, идущее от

\* Par. XXVII, 121.

\*\* Purg. XX, 10.

\*\*\* Kraus, p. 511. — H. Hauvette, p. 175.

\*\*\*\* Ossen[vatore] Rom[ano] 31. 1. 1937. — Papini, p. 226. — L. Filomusi Guelfi. L'allegoria del poema di Dante (1910), p. 26.

Духа, третье благо и есть, может быть, то, что Ориген называет «восстановлением всего», *apokatastasis ton panton*, и о чем говорит Павел:

Да будет Бог все во всем (I Кор. 15, 28).

Вот что значит: «лучше для вас, чтоб Я ушел».

О, тихий Свет Христов, вознесся Ты на небо,  
Чтоб слабых глаз моих не ослепить!

«Отступи от меня, чтоб я мог подкрепиться»...

Сын «ушел» — «отступил», чтобы мог прийти Дух.

Каждый бедный человек, каждый пастух в Апеннинских горах и каждый нищий брат св. Франциска Ассизского, понял бы в те дни, что значит: «меж войлоком и войлоком родится». Очень дешевая и грубая шерстяная ткань, которая шла на одежду бедных людей и рясы нищих братьев, изготовлялась из «войлока», *feltro*\*. Это значит: будет рождение Духа в такой же нищете, как рождение Сына в вифлеемских яслях, на соломе. Данте согласен и в этом, как во всем, с первым благовестником Духа, Иоахимом Флорским: «Истинный монах (служитель Духа) ничего не почитает своим, кроме кифары»\*\*.

Будущее всемирно-историческое действие Духа становится понятным в борьбе «Гончей», *Veltro*, с «Волчицей». За семь веков до нас Данте понял то, чего, и в наши дни, почти никто не понимает, — что страшный узел социального неравенства, грозящий именно в наши дни затянуться в мертвую петлю и задушить человечество, может быть развязан только в Третьем Завете — в Царстве Духа, *Veltro*.

Главная сила святости христианской, Новозаветной, — в личном спасении, в правде о человеке, а в спасении общественном, — в правде о человечестве, — будет главная сила святости Третье-Заветной. Данте мог бы согласиться с Августином: «Вся жизнь Града Божия будет общиной, *socialis*»\*\*\*. —

---

\* *Kraus*, p. 476. — *Papini*, p. 282, 286.

\*\* *Exp[ositio] in Apocal[ipsim]*, fol. 183.

\*\*\* *Augustin. Civ. Dei* XIX, 17.

«Лишним владеть, значит владеть чужим»\* — «Общая собственность — закон Божественный; собственность частная — закон человеческий»\*\*.

«Древняя Волчица», *antica Lupa*, есть ненасытимая Алчность, *Cupidigia*, — проклятое богатство, частная собственность, а «Гончая», *Veltro*, есть благословенная Бедность, Общность имуществва. Дело великого святого, Франциска Ассизского, — разрешение социальной проблемы, второе чудо Умножения хлебов, начатое в Церкви, — продолжает великий грешник Данте, в миру. Общество человеческое будет строиться в Третьем Завете по образу того, что св. Тереза Испанская называет «Божественным Обществом» Пресвятой Троицы. Все металлы человеческие — церкви, государства, народы, сословия («классы» по-нашему) — сплавит в один нужный для царства Божия сплав всемирно-историческое явление Духа, которое Данте предчувствует как «молнию» Трех\*\*\*.

Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они да будут едино (Ин. 17, 21).

Только в Третьем Царстве Духа совершится «великий переворот» совсем иной качественно, чем тот, который мы называем «социальной революцией». Собственники — «богатые, великие, сильные мира сего, — учит Иоахим, учитель Данте, — будут унижены, а нищие, малые, слабые, — возвышены... и увидят они наконец правосудие Божие, совершенное над их палачами и угнетателями»\*\*\*\*.

Только тогда, после великого переворота, наступит «покой субботний», по Иоахимову Вечному Евангелию, — «мир всего мира, *raх universalis*», по Дантовой «Монархии»\*\*\*\*\*, и воздвигнут будет из новых камней, на развалинах старого «Града человеческого — дьявольского» (*civitas hominum — civitas diaboli*, по Августину), «тысячелетнее Царство Святых» — Вселенская

---

\* *Augustin. Sermo*, 285.

\*\* *Augustin. Ad Joh. VI*, 25.

\*\*\* *Par. XXXIII*, 140.

\*\*\*\* *Exp[ositio] in Apocal[ipsim]*, fol. 199.

\*\*\*\*\* *Mon. I*, 4.

Церковь, «Царство Божие на земле, как на небе»\*. Это и будет предсказанное Данте «совершенно неведомое нам», третье «благо».

Каждым биением сердца, каждым дыханием, каждым тройным созвучием стихов — терцин (*terzina* значит «тройной — троичный стих»), и всем исполинским тройственным зодчеством «Комедии» — «Адом», «Чистилищем», «Раем», — Данте повторяет бесконечно, бесчисленно, одно-единственное: Три; не Отец, — Один; не Отец и Сын, — Два, а Отец, Сын и Дух, — Три. Это пережить, сделать и, значит, узнать — увидеть будущего Данте, чтобы с ним, погибавшим и спасшимся, и нам, погибающим, спастись; потому что, может быть, не только в спасаемых, великих Святых, но и в погибающих, великих грешниках, таких, как Данте и мы, совершается вечное движение Духа, от Иисуса к нам.

Первым исповеданием Трех кончается «Новая жизнь». — «Часто и недаром упоминалось в повествовании моем (о жизни Беатриче) число Девять; то же число имело и в смерти ее великий смысл». [936] Ибо, «в первый час девятого дня месяца, по счислению Аравийскому, отошла от нас душа ее благороднейшая, а по счислению Сирийскому, — в девятый месяц года; по нашему же счислению, — в тот год, когда девять раз исполнилось число совершенное (десять:  $10 \times 9 = 90$ , — год смерти Беатриче, 1290)... Ибо этим числом (Девятью) была она сама... Три есть корень Девяти... Если же Три, само по себе, производит Девять, и если начало всех чудес — Три: Отец, Сын и Дух Святой, Три в Одном, то Дама эта была сопровождается числом Девять для того, чтобы показать, что сама она была Девятью — тем чудом, чей корень есть... единая Троица»\*\*.

В жизни смертной женщины совершается для Данте чудо Пресвятой Троицы. Тут надо выбрать одно из двух: это или кощунство кощунств, ересь ересей, или в этом религиозном опыте Данте заключена какая-то великая, новая, для нас непонятнейшая и неизвестнейшая истина.

«Новая жизнь» кончается первым явлением Трех, а последним — «Комедия».

---

\* *Exp[ositio] in Apocal[ipsim]*, fol. 83.

\*\* V. N. XXVIII. — V. N. XXIX.

Когда третий вождь Данте, св. Бернارد, после молитвы за него к Пресвятой Деве Марии, так же исчезает, как два первых вождя, Вергилий и Беатриче, Данте остается один, лицом к лицу с Единым в Трех.

Ни слов мне не хватает, чтоб сказать,  
Ни памяти, чтоб вспомнить то виденье.  
Как у того, кто чувствует, проснувшись,  
Лишь смутное в душе волнение сна,  
Но ничего уже не помнит ясно, —  
Так у меня почти совсем исчезло  
Из памяти то чудное виденье,  
Но сладость, им рожденная, осталась...  
О, горний Свет, превосходящий все,  
Что скудный разум наш постигнуть может,  
Верни душе моей хотя немного  
Из явленного мне, и даруй силу —  
Того огня хотя бы только искру  
Векам грядущим передать!\*

Большей власти над человеческим словом, чем Данте, никто не имел; но вот эта власть изменяет ему. Как путник в горах, по мере восхождения на высоты, видит, что кончаются деревья, злаки, мхи, — так видит Данте, что на той высоте, которой он достиг, все человеческие слова кончаются.

Отныне будет речь моя, как смутный лепет  
Сосущего грудь матери, младенца\*\*.

Но может быть, лучше всех внятных слов выражает этот младенческий лепет благоговейный ужас и восторг перед Неизреченным Светом.

...Таков был этот Свет,  
Что, если б от него отвел я очи,  
То слепотою был бы поражен.  
Но вынести его я мог тем легче,  
Чем дольше на него смотрел.  
О, Благодать Неисчерпаемая, ты дала

---

\* *Par.* XXXIII, 55.

\*\* *Par.* XXXIII, 106.

Мне силу так вперить мой взор в тот Свет,  
Что до конца исполнилось виденье!\*

Тот же свет осиял и Павла на пути в Дамаск и скольких еще святых: можно сказать, что первичный опыт святости и есть явление этого Света. «Блеск ослепляющий, белизна сладчайшая, — вспоминает св. Тереза Испанская. — Солнечный свет перед этим так темен, что и глаза на него открывать не хотелось бы. Разница между этими двумя светами такая же, как между прозрачайшей, по хрусталу текущей, отражающей солнце, водою — и темнейшей по темной земле под темным небом текущей... Тот Божественный Свет кажется естественным, а солнечный — искусственным. И так внезапно являет его Господь, что если бы надо было только открыть глаза, чтобы увидеть его, мы не успели бы... Я это знаю по многим опытам»\*\*.

Дантова опыта не знала св. Тереза, но вот эти два опыта совпадают с такою точностью, что совпадение это делает более чем вероятным их подлинность.

...В той бездне изначальной, я увидел  
В одной любви соединенным все  
Рассеянное бесконечно в мире...  
И понял я, что Бог — простейший Свет...  
...Там, в глубине Субстанции Предвечной,  
Явились мне три пламеневших круга  
Одной величины и трех цветов.  
Казалось первый отражен вторым,  
Как радугую — радуга, а третий был  
Как бы одним огнем, равно дышавшим  
Из них обоих. О, как тщетно слово  
Пред тем, что мыслью понял я тогда;  
Как тщетна мысль пред тем, что я увидел!  
О вечный Свет, себе единосущный,  
Себя единого в Отце познавший,  
Собой единым познанный лишь в Сыне,  
Возлюбленный Собой единым, в Духе!  
В том круге огненном, что мне сначала  
В Тебе казался светом отраженным, —

---

\* *Par.* XXXIII, 76.

\*\* *M. Bouix.* *Vie de Sainte Thérèse* (1923), p. 300.

Когда я пристальней в него взгляделся,  
Увидел я внутри, — того же цвета,  
Как самый круг, — наш образ и подобье.

«Наш образ», человеческий, в Боге, есть Лик Христа. Вот когда наконец Данте увидел Его, лицом к лицу: увидел, но все еще не узнал и не понял.

И погрузил в Него я взор мой так,  
Что был тому геометру подобен,  
Который ищет квадратуры круга...  
Я все хотел постигнуть и не мог,  
Как сочетается тот Образ с кругом,  
И как в него он вписан, и зачем.  
Вдруг молнией был поражен мой ум, —  
Я понял все, но в тот же миг  
Потухло все в уме изнеможенном.  
И обращала все мои желанья,  
Как ровно-движимое колесо,  
Опять к себе единой та Любовь,  
Что движет солнце и другие звезды\*.

Две молнии: эта — в конце жизни, и та, в ее начале, в детской любви к Беатриче.

...В тот день, как в мир она пришла...  
Я был еще ребенком, но внезапно  
Такую новую узнал я страсть...  
Что пал на землю, в сердце пораженный,  
Как молнией\*\*.

Между этими двумя молниями Трех вся жизнь и все творчество Данте.

«Плыл архиерей на корабле по Белому морю и услышал, что живут на пустынном островке три старца, спасаются, а сами так просты, что и молиться не умеют, как следует. Захотел увидеть их, подплыл к островку, вышел на берег и видит: стоят рядом три старца древних, сединой обросших, — большой, средний и малый, — за руки держатся.

---

\* *Par.* XXXIII, 115.

\*\* *Rime* 67.

— Как вы Богу молитесь? — спросил архиерей.

И самый древний старец сказал: “Молимся мы так: трое нас, Трое Вас, помилуй нас”. И как только сказал это, подняли все трое глаза к небу и сказали: “Трое Вас, трое нас, — помилуй нас!”

Усмехнулся архиерей: “Это вы про Святую Троицу слышали, да не так вы молитесь”.

И начал их учить молитве Господней. Долго учил, весь день до ночи: старцы были очень беспамятны. Наконец кое-как выучил, сел на корабль и отплыл. Взошел месяц. Стоит архиерей на корме, глядит в море, туда, где островок скрылся. Вгляделся — бегут по морю старцы, корабль догоняют, белеют и блестят их седые бороды. Бегут, рука с рукой держатся; крайние руками машут, остановиться велят. Поравнялись с кораблем и заговорили в один голос:

— Забыли, раб Божий, забыли твое учение... ничего не помним, научи опять!

Перекрестился архиерей и сказал:

— Доходна до Бога и ваша молитва. Не мне вас учить.

И поклонился в ноги старцам»\*.

Трем «великим богам», Кабирам, — Большому, Среднему и Малому, — совершались в незапамятной древности таинства на о. Самофракии, а на о. Крите, в Кносском дворце-лабиринте баснословного царя-бога Миноса, найдены три глиняных столбика, соединенных в подножии; три голубя сидят на них, по одному на каждом, знаменуя сошествие Трех. Второй дворец Кносса, где найдены столбики, построен за пять веков до Троянской войны (около 1600 года). Вот когда уже люди поклонялись Трем\*\*<sup>53</sup>. Просты были, не умели молиться, как следует, и молились, глядя на три столбика: «Трое Вас, трое нас, — помилуй нас!» и погибая в бурных волнах морских, видели, как в блеске молний, тремя белыми чайками, над черною бездною волн, бегут к ним на помощь три Великих Кабира — Три старца<sup>54</sup>.

В Ханаане, у дуба Мамврийского, явился Господь Аврааму:

Он возвел очи и взглянул, и вот Три Мужа стоят перед ним (Быт. 18, 2).

---

\* Толстой. «Три старца».

\*\* А. Evans. Palace of Minos at Knossos (1921), p. 222.

И тотчас узнал он Господа, чье имя — Elohim, «Боги»; Три Бога в Одним. Кажется, оттуда, из Ханаана, и произошло имя Кабиров: Кабгу, Великие. А имя вавилонское — Ка-ab-rat: Отец Эа, Мать Иштар и Сын Таммуз. Но люди Сенаара знали их уже в довавилонской, шумерийской, почти невообразимой для нас, как бы допотопной, древности\*. Им поклонялись и предки Египтян, в столь же бездонной древности, додинастической (VII–VIII тысячелетие<sup>55</sup>): Отец Озирис, Мать Изиды, Сын Гор\*\*.

Едва человек узнал что-то о Боге и поднял глаза к небу, как увидел Трех. А когда родился на земле Человек, знавший Бога так, как никто не знал до Него и после Него, то вся жизнь этого Человека, от минуты, когда люди слышали из отверзшихся над водами Иордана небес глас Отца: «Ты — Сын Мой возлюбленный» (Мк. 1, 11), и Дух сошел на Сына, — до той минуты, когда Иисус Воскресший сказал ученикам последние слова свои на земле:

Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28, 19), —

вся жизнь этого Человека была очевидным, всемирно-историческим действием Трех, совершающимся и в жизни всего христианского человечества до «великого отступления» от Христа, il gran rifiuto, которое, начавшись во дни Данте, продолжается до наших дней.

Увы, мой друг, старо и ново,  
 Веками лжи освящено,  
 Всех одурачившее слово:  
 Одно есть Три, и Три — одно.

Кто прав, — Данте, знающий, что людям нельзя спастись без Трех, или этого не знающий Гете — весь мир наших дней? Были, вероятно, в жизни Данте такие минуты, когда он спрашивал себя, кто сошел с ума, — он или весь мир, и когда, может быть, чувствовал то же, что человек в параличе, который, проснувшись ночью в доме, где начинается пожар, хочет вскочить, закричать,

\* *Th. Friedrich*. Kabiren und Keilinschriften [(1894)], p. 91.

\*\* *Plutarch*. Isis und Osiris. [Плутарх. Исида и Осирис.]

и не может и знает, что он, вместе со всеми, глубоко спящими в доме, погибнет в огне. То же чувствуют и в наши дни те, кто понял, что сделал Данте, когда сказал никому не понятное и не нужное: Три.

«Кто сошел с ума — я или мир?» — от этого вопроса, если его услышать и понять, как следует, можно в самом деле сойти с ума, или отчаяться не только в себе и в людях, но и в Том, в Ком отчаяться значит упасть в последний круг ада — в «Иудину пропасть», Джиудекку, где в вечных льдах леденеют предатели, потому что отчаяться в Нем — значит Его предать, как предал Иуда. Если бы мы могли довести до конца то, что начинается в этом вопросе: «кто сошел с ума?» — мы поняли бы, почему полусошедший с ума, полуотчаявшийся Данте замуровал в стену именно последние песни «Рая», где возвещается миру то, над чем посмеется Мефистофель-Гете — дух всего отступившего от Христа человечества наших дней:

Одно есть Три, и Три — Одно.

Если же Данте все-таки не сошел с ума и не отчаялся, а жил и умер с бессмертной надеждой, то потому, что знал, как бессильны над ним люди в этом главном деле его — благовестии Трех.

Так погубить не могут их проклятья

(и то, что хуже всех проклятий, — мертвый сон в доме, где пожар), —

Чтоб не спасала вечная Любовь,  
Пока надежда в сердце зеленеет\*.

Вот для чего Данте, поэт бессмертной надежды, так нужен в наши дни, чтоб не сойти с ума и не отчаяться тем, кто понял, что значит Три.

Так же, как движется тело человека в трех измерениях пространственных, — движется и душа его в трех Измерениях Божественных; так же, как действует закон мирового тяготения физического на тело человека, — действует и на душу его закон

---

\* *Purg.* III, 133.

мирового тяготения духовного: вот почему все, кто религиозно движется только в двух измерениях — в плоскости, как будто нет ни глубин, ни высот, — раздавливаются тяжестью или проваливаются в пустоту. Это и происходит с людьми наших дней.

«Страшно много человеку на земле терпеть, страшно много ему бед»\*. Три главных беды: Голод, Рабство, Война. Очень возможно, что, после первой Великой Войны, наступит для всей Европейской цивилизации вторая Ледниковая ночь; но если и в этой ночи где-нибудь, на пустынном островке или в пропастях земли будут молиться три Старца: «Трое Вас, трое нас, — помилуй нас!», то и этого будет достаточно, чтобы возобновилось прерванное всемирно-историческое действие Трех в снова христианском, или уже за-христианском в Третий Завет вступившем человечестве. И если тогда, выйдя из Ада, люди снова начнут восхождение на гору Чистилища, в Рай Земной — в Царство Божие на земле, как на небе, то с каким умилением и с какой благодарностью вспомнят они забытого и почтут презренного Данте, великого благовестника Трех.

Что сделал прошлый или что сделает будущий Данте? Вечный религиозный опыт — догмат о Троице — он раскрыл или раскроет по-новому, «не для созерцания, а для действия». Новое тут именно в том, что догмат этот всегда открывался в созерцании, и только у Данте впервые открывается во всемирно-историческом действии. Цель его можно бы выразить тремя словами, простейшими и понятными для всех, всегда и везде: Мир, Хлеб, Свобода.

Три человеческих муки — Голод, Войну и Рабство — утоляют Трое: Отец, Сын и Дух. Хлеб — от Отца:

взяв (Иисус) семь хлебов и воздав благодарение (Отцу)... дал ученикам... и они раздали народу... и ели (все) и насытились (Мк. 8, 6–8).

Мир — от Сына:

мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам (Ин. 14, 27).

Свобода — от Духа:

Дух... послал Меня... проповедовать пленным освобождение... отпустить измученных (рабов) на свободу (Лк. 4, 18).

---

\* Достоевский. «Братья Карамазовы». III, 3.

Кажется, чуткому уху слышно, как бьется сердце Данте — сердце будущего мира: «Мир, Хлеб, и Свобода; Отец, Сын, и Дух, — Три!» Но так же, как налипшие на трансатлантическом кабеле ракушки не слышат вести, передаваемой от одного материка к другому, — люди не слышат, вот уже семь веков, и сколько еще веков не услышат передаваемого Данте из прошлого в будущее самого непонятного для них, неизвестного и как будто ненужного слова, а на самом деле единственно нужного и единственно спасающего: Три.

